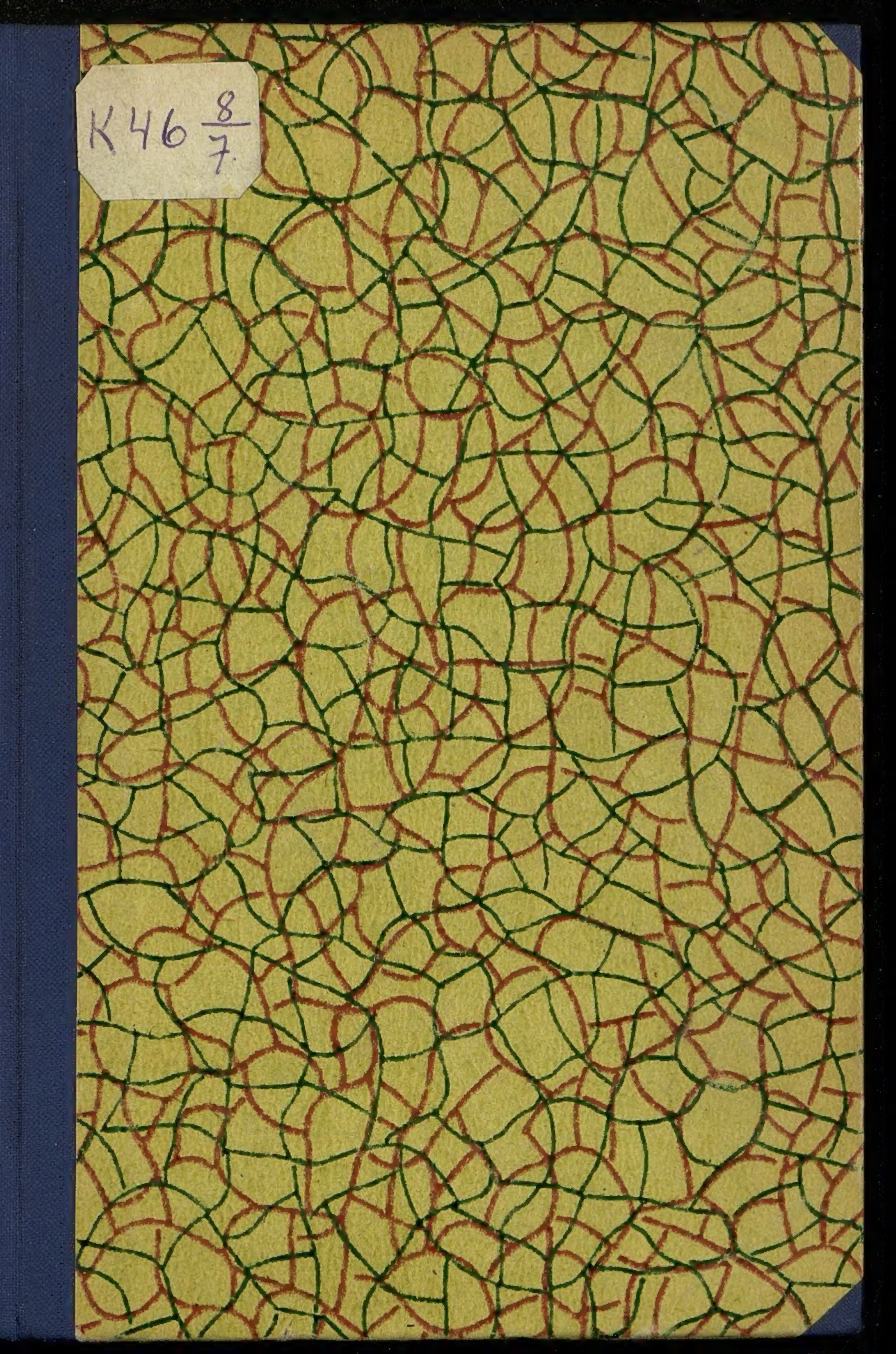
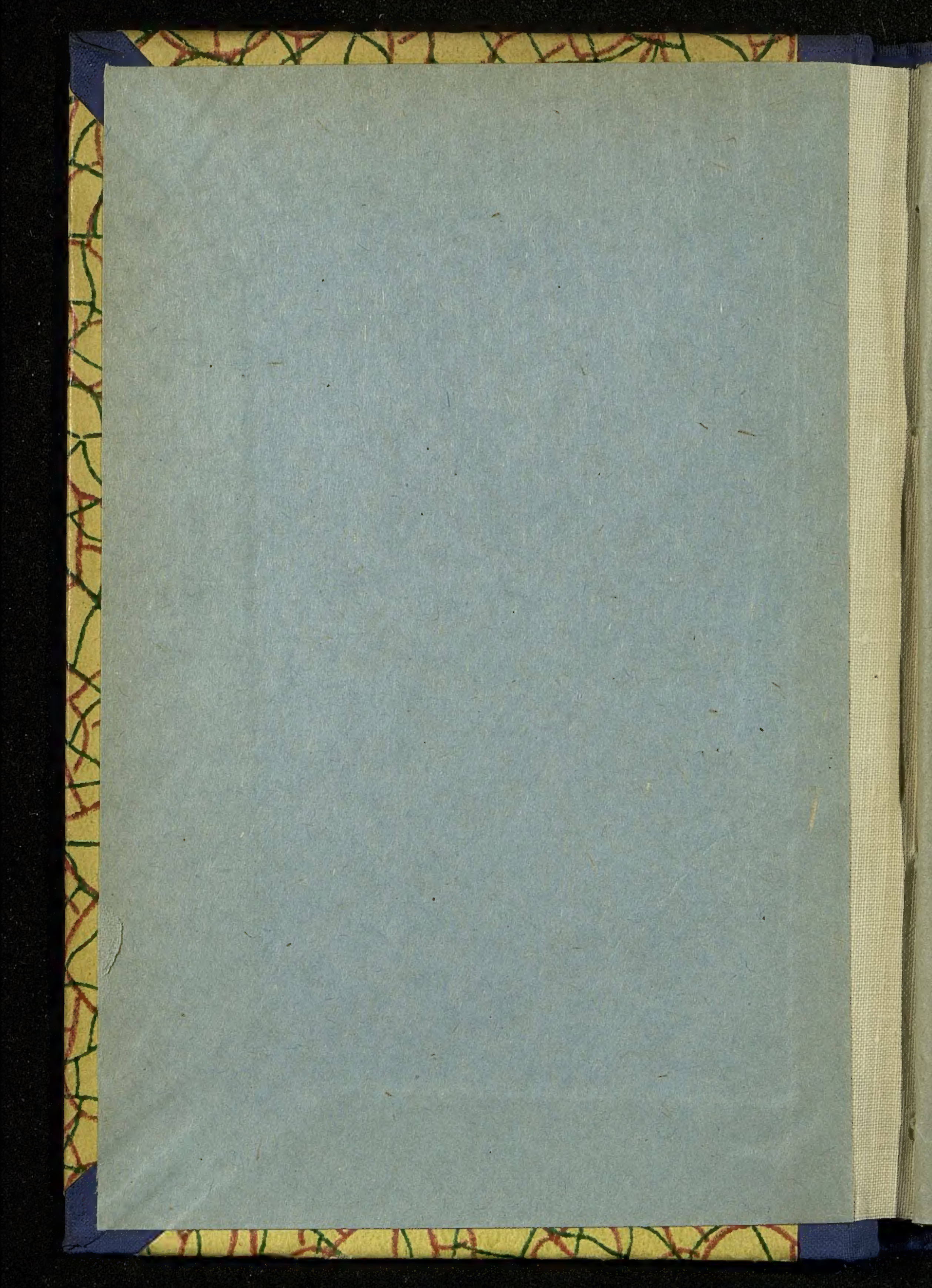
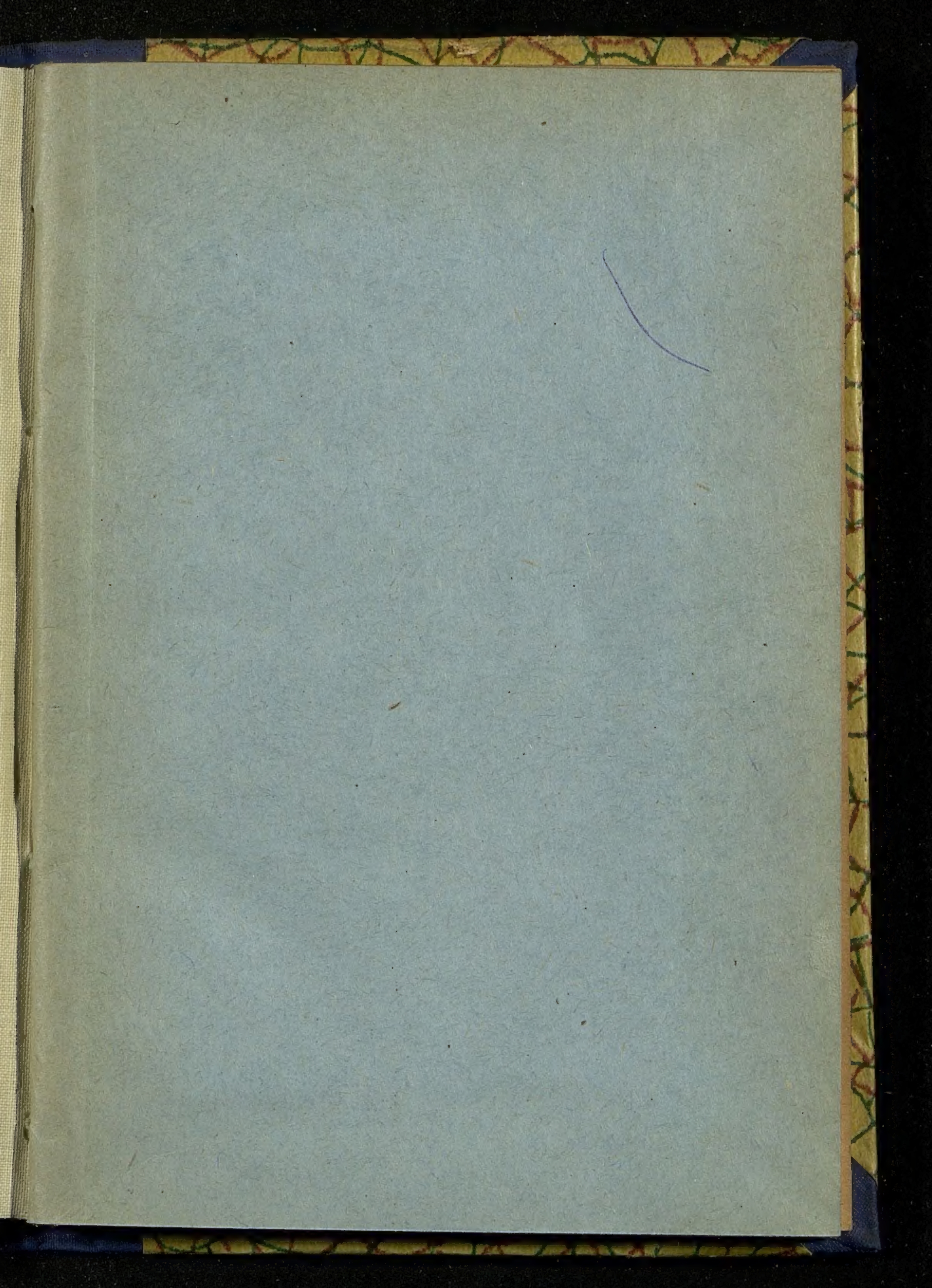
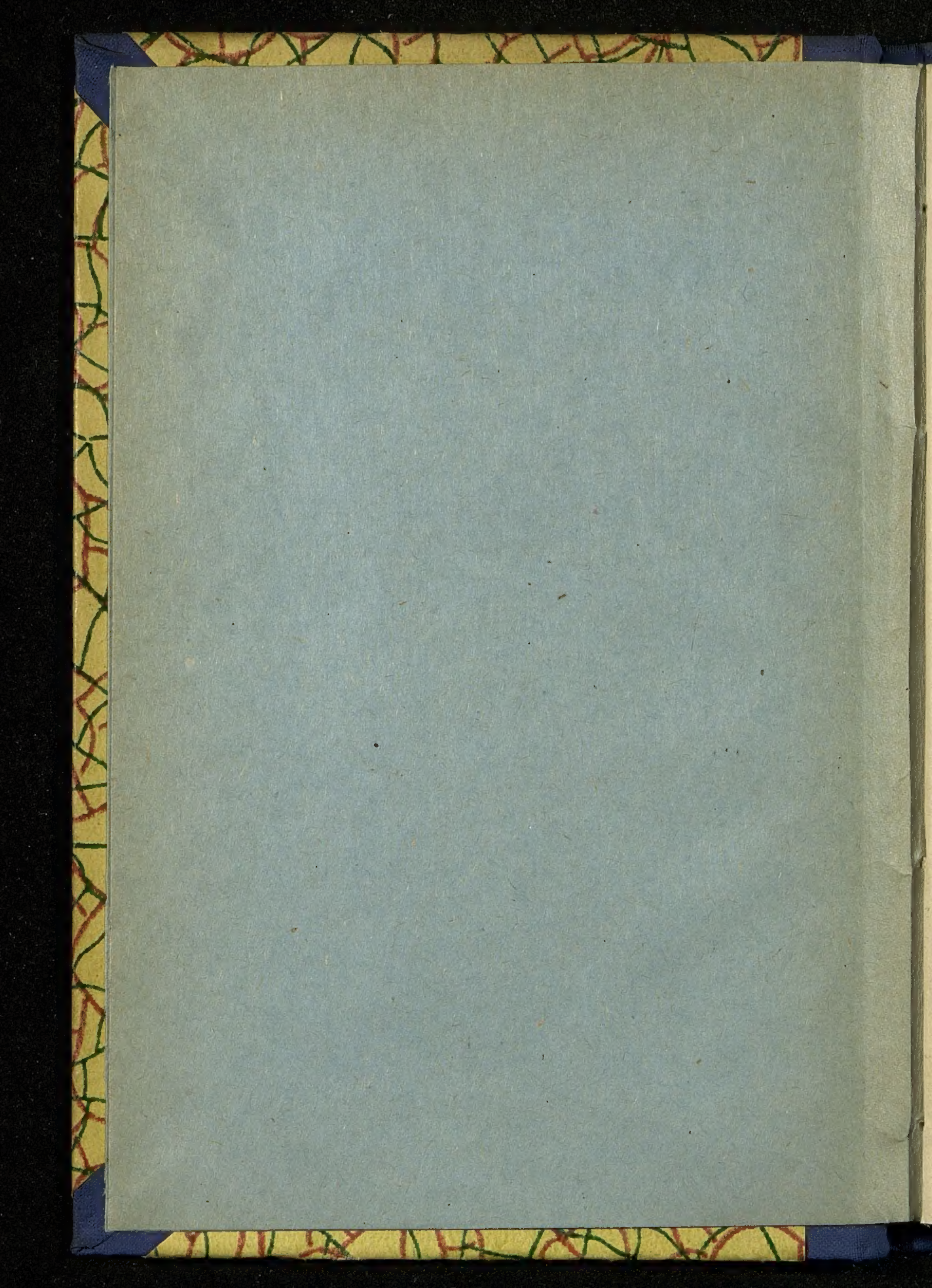


K 46 8/7.

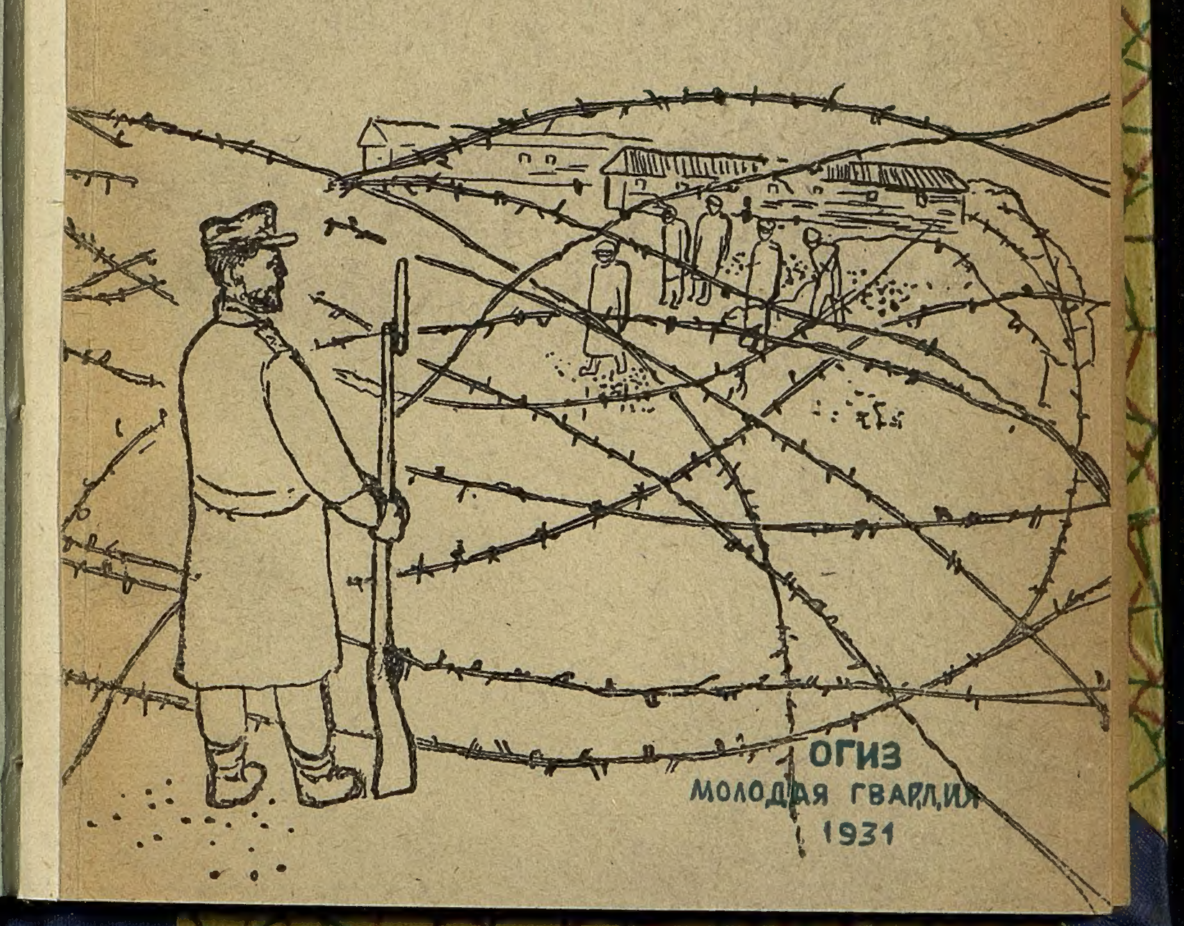




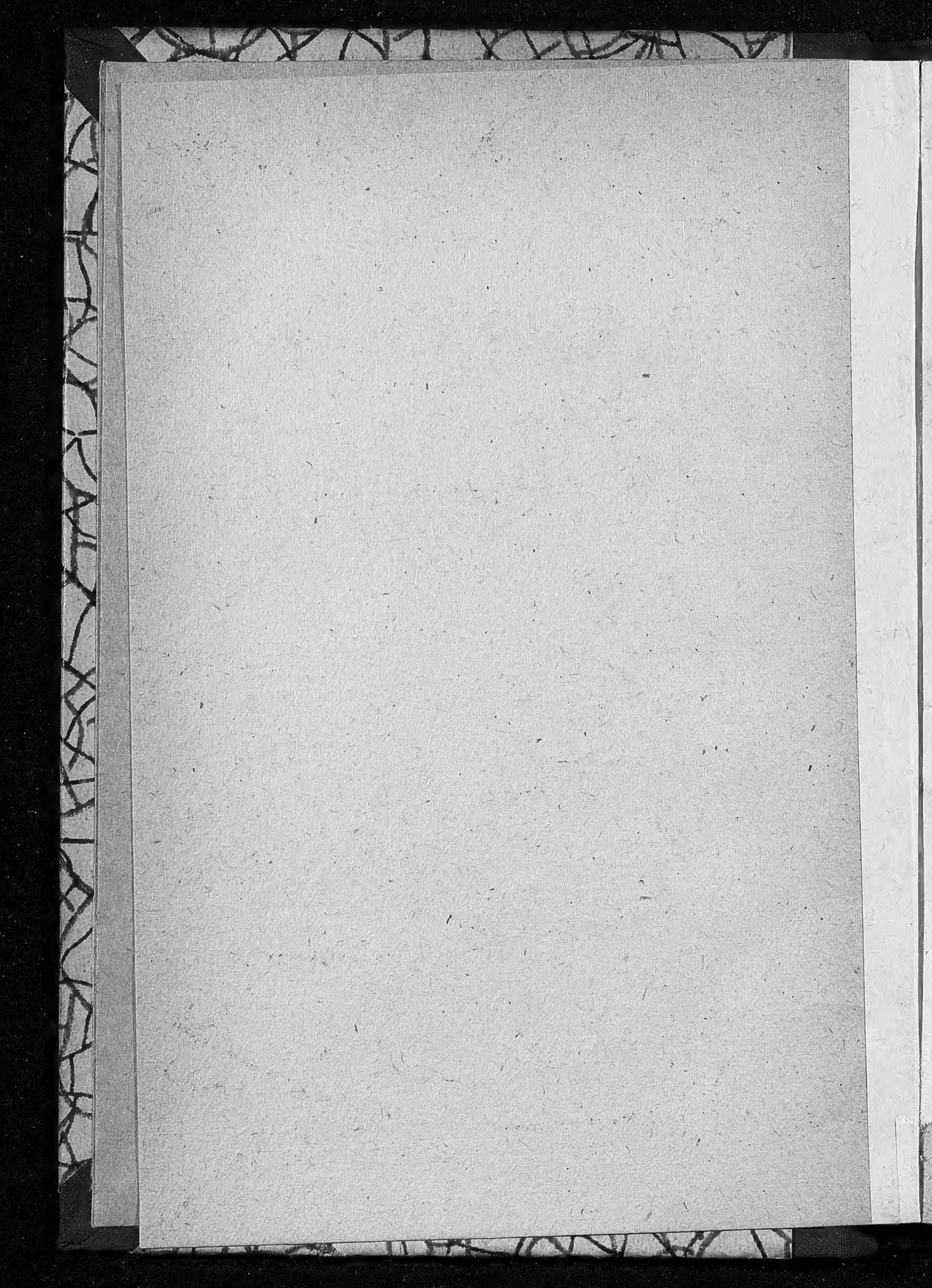


КИРИЛЛ-ЛЕВИН

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ



ОГИЗ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1931



КИРИЛЛ ЛЕВИН

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

РИСУНКИ
И ОБЛОЖКА
ХУДОЖНИКОВ
М. ГРАНАВЦЕВОЙ
И Л. ЗЕВИНА

1931 ОГИЗ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Сдано в производство 28/VI
Подписано к печати 31/VIII
Редактор *Г. Эйхлер*
Техредактор *Л. Юркевич*

СОДЕРЖАНИЕ



М. Г. № 1760 Инд. Д—72 $4^1/_4$ п. л. $7^1/_4$ авт. л.
Уполн. Главлита Б 10214 Тираж 10.000
Типо-литография им. Воровского, ул. Дзержинского, 18. Н. 7148

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1914 году началась война, известная под названием мировой и империалистической. Это была самая страшная, самая кровопролитная война с тех пор, как существует человечество. Десять миллионов человек было убито. Еще больше — ранено и искалечено. Целый ряд стран был совершенно разорен, и в огне и в дыму погибло имущество, ценность которого составляли многие и многие миллиарды рублей.

Эта война подготовлялась давно буржуазией и правительствами всех стран. Войны неизбежны при капиталистическом строе, так как между капиталистами разных стран происходит постоянная борьба за передел мира, за захват новых рынков, где они могли бы сбывать свои товары, за овладение важнейшими морскими и сухопутными дорогами, по которым можно провозить (экспортировать) товары в чужие страны. Маркс и Ленин предсказали неизбежность такой войны.

Только тогда, когда буржуазия во всем мире будет побеждена и пролетариат овладеет властью, войны прекратятся, потому что рабочим незачем воевать друг с другом — они объединятся в единый Всемирный союз социалистических советских республик.

Царская Россия участвовала в империалистической войне вместе с Францией, Англией, Италией, Сербией, Америкой и Бельгией. Русским империалистам хотелось захватить Дарданеллы — пролив, который составлял ключ к Черному морю.

Они мечтали о Галиции, которая в то время принадлежала Австрии.

Около 15 миллионов солдат было мобилизовано в России. Бездарность и расхлябанность царских генералов, воровство и хищения в тылу, неумение организовать промышленность и многие другие причины привели к тому, что царская армия потерпела ряд ужасных поражений, потеряла несколько миллионов людей убитыми, ранеными и пленными. Измученный войною народ, в первую голову революционный пролетариат Ленинграда (тогда Петрограда), восстал против царского режима, и самодержавие было свергнуто. Попытки буржуазии удержать власть окончились полным крахом. Под руководством большевиков, во главе с Лениным, рабочие и крестьяне захватили власть в октябре 1917 года. Свержение царской власти, а затем и временного правительства произошло сравнительно легко главным образом потому, что в процессе войны быстрее, чем в мирное время, выявилась вся негодность царско-помещичьего режима, вся его гнусность и неспособность к разрешению даже самых пустяковых задач. Миллионы солдат на фронте не хотели воевать за царя, за помещиков и за буржуазию, и революция развязала то глубокое недовольство, которое давно уже скоплялось в солдатских массах. И так же, как их товарищи на фронте, русские военнопленные, томившиеся за колючей проволокой в лагерях Австрии и Германии, начали понимать, что им незачем было сражаться с австрийскими и германскими крестьянами и рабочими, — такими же бедняками, как и они сами, жизнь которых они хорошо узнали, находясь в плену. И на фронте, и в плену они научились по-новому смотреть на вещи, они все более убеждались в том, что их обманом вовлекли в эту войну, и поэтому главная масса пленных с восторгом приветствовала Октябрьскую революцию в России. Эта революция была для них освобождением от плена. Она обещала им новую свободную жизнь на родине, избавленной от власти помещиков, фабрикантов и полицейских.

И пленные были свидетелями, как волны этой революции перехлестывали через фронт, через русские границы и заливали Австрию и Германию.

Австрийские часовые уже не хотели стеречь лагери военнопленных, не хотели итти умирать и гнить в окопах за своих капиталистов. Они сбросили своего императора, и сотни русских пленных дрались вместе с ними в октябре 1918 года на улицах Вены и Праги, штурмуя подгнившие стены австрийской монархии.

Но до этого целые годы должны были провести миллионы русских солдат в лагерях, за колючей проволокой, медленно вымирая от голода, холода и болезней

1. ИЗ ОКОПОВ ЗА КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ

Теперь, вспоминая эти дни, я недоверчиво думаю: в самом ли деле все это было? В самом ли деле добрый и всегда грустный Любучек, который потом, в плену, приносил мне под полой, чтобы не видел фельдфебель, селями — жирную чешскую колбасу — и круглые булочки — в самом ли деле он, с встопорщенными злыми усами (какое добродушное выражение они придавали ему потом!) и почерневшим лицом, бросался на меня со штыком?

А между тем все это было. Выпивши, Любучек приходил ко мне, близко придвигал к моему лицу свое, красное и припухшее от пива, и испуганно спрашивал:

— Послухай, Левинку, могло то быть, же я байонетом (штыком) хотел те ржезать, яко свине?

С тех пор как его, раненого в том же бою, в котором я попал в плен, отправили в тыл и там за неспособностью к фронту назначили санитаром в лагерь русских военнопленных, прошло около года, и теперь лучшими его друзьями были мы, русские солдаты.

Бои отошли в прошлое, но тяжелая лапа войны не переставала давить нас. Наш лагерь со всех сторон был охвачен колючей проволокой, у ворот стояли австрийские часовые, и в черных, грязных бараках люди жили на нарах, построенных в два яруса, как мелкий скот в товарных вагонах.

Но сюда мы попали не сразу.

До этого мы проделали длительные и суровые скитания по прифронтовым этапам и деревням, ночевали в сараях, брошенных каменоломнях и разрушенных снарядами домах.

И ночью на привалах, лежа на земле, закутанный в чужую шинель, подобранную где-то на дороге, я метался, не мог уснуть. Мучительные видения не оставляли меня. Шрапнели рвались надо мною, кто-то стонал, кто-то полз, плача и волоча раздробленную ногу, и, стреляя, шли люди.

...Бой происходил в сосновом перелеске, которыми так богата Галиция. Наши цепи шли через перелесок, по ту сторону которого находились австрийцы, пули не грозно цокали о медные сосновые стволы, и солдаты, пробираясь сквозь колючие заросли ежевики, на ходу срывали ягоды. Их губы казались вспухшими от черного ягодного сока.

На опушке нас встретил бригадный — жирный, одутловатый старик, с голубыми елейными глазами, и, неловко махнув рукой, скороговоркой прокричал:

— С богом, братцы, с господом, серенькие!

Он сейчас же уехал, и цепи вышли на вспаханное машинами поле. Итти было очень тяжело. Австрийские пули летели свистящими стаями, шрапнели рвались над нашими головами, и за каждым бело-розовым дымком разрыва во все стороны брызгали комья развороченной пулями земли.

— Вперед, — закричал Колесников, унтер-офицер, — направление на канаву!

И он бросился вперед, опустив голову и зажмурившись, как бросаются в воду.

Канава шла шагов на двести впереди, вдоль дороги, и вся цепь, бестолково скучиваясь, бросилась вперед. Бежали, низко пригибаясь к земле, и Колесников, добежав первым, как-то уж слишком быстро ткнулся в насыпь.

Пули летели все гуще, и визг их и цоканье, когда они ударялись обо что-нибудь, нестерпимо стояли в ушах. У самой канавы меня толкнуло в ногу, я подпрыгнул, несколько раз мелко и часто переступил и лег на живот. Неприятельские цепи выскочили неожиданно. На нас шли мадьяры, смуг-



На нас шли мадьяры, опьяненные атакой.

лые, чернобородые и белозубые. Они были опьянены атакой, хрипло ругались и направляли на нас широкие, как кухонные ножи, штыки. Я вскочил, мадьяр яростно налезал на меня со штыком, я увертывался и вдруг сообразил, что винтовка была еще у меня в руках. Я бросил ее, и мадьяр, опустив штык, стал срывать с меня пояс с патронными подсумками. Из-за пазухи покатились огурцы, купленные мною на последнем привале. Мадьяр засмеялся, лицо его пошло добрыми морщинами, и он рукой показал мне, чтобы я лег в канаву. Там было много русских. На боку, рука под щекой, лежал Колесников. У него было равнодушное, сонное лицо. Он был убит в тот момент, когда подбегал к канаве.

Бой уходил дальше. Австрийцы наступали. Из-за пригорка выехал верхом австрийский генерал. Он был в очках, у него было благодушное лицо детского врача, и, благословляюще подымая руку, он негромко говорил:

— Ordnung, nur Ordnung[1].

Австрийцы, охраняющие нас, сидели на корточках, держа винтовки между колен, и все мы прислушивались к крикам, свисткам и выстрелам, доносившимся к нам оттуда, где шел бой.

Уже темнело, и залпы вспыхивали целыми табунами бронзовых огоньков, разрывы шрапнелей блистали ослепительно и красиво, и мощный гул криков и стонов, казалось, приветствовал их страшную красоту.

По полю ковыляли и ползли люди с землистыми лицами, с потухшими глазами. Они волочили перебитые ноги, поддерживали здоровыми руками искалеченные, некоторые подпирались винтовками, как костылями...

Австрийский офицер посмотрел в бинокль туда, где шел бой, и подал команду. Нас повели.

Австрийцы торопили, шли почти бегом.

Мы проходили мимо солдат, возвращавшихся после боя.

[1] Порядок, только порядок.

У них были потные осунувшиеся лица и воспаленные глаза, одежда их была в грязи и пыли, и рыжие ранцы мотались за их плечами. Было похоже, что это рабочие идут с утомительной работы.

Впереди виднелась усадьба, у ворот был колодец с фигурой католического святого, и у колодца столпились сотни австрийцев. Охваченные нестерпимой жаждой, они не могли долго ждать, качали воду в деревянный водоем для скота и пили прямо оттуда, не отрываясь по нескольку минут. Некоторые глядели на нас с тяжелым удивлением, точно не могли понять, как это русские, которых они только что убивали, спокойно стояли возле них. Они неохотно пропустили нас к колодцу.

Высокий австриец, с живыми серыми глазами, подошел к нам. Он дружелюбно протянул нам руку, с которой война еще не стерла въевшуюся в кожу жирную машинную грязь, и сказал, что он машиностроительный рабочий из Кракова. Он говорил по-украински, и мы свободно понимали его. Среди нас был один сормовец, и австриец обрадованно сжал его руку. Они долго говорили между собой, и, уходя, австриец поцеловал его и отдал ему свой табак.

Ночь провели в огромной пустой комнате, видимо бывшей столовой, судя по камину и вделанному в стену буфету. Улеглись вповалку на грязном полу, а у дверей сонно стали австрийские часовые.

Выстрелы слышались всю ночь; через открытую дверь было видно, как торопливо пробегали офицеры в помещавшийся рядом штаб, чей-то властный голос ругал кого-то, а на рассвете послышалась орудийная стрельба, шум далекого боя, и в усадьбе началась тревога.

Нас подняли и вывели во двор. Воздух был синий, молочный. Было холодно. Со двора виднелось поле, еще подернутое утренним туманом. Там шел бой. Австрийцы отступали. Они выходили из тумана и, отстреливаясь, приближались к усадьбе. Во двор на горячей лошади прискакал офицер. Он бросил лошадь (ее подхватил солдат) и побежал

в штаб. Через минуту он выбежал обратно и вскочил в седло. Русская шрапнель разорвалась над двором, с деревьев посыпались сбитые пулями листья. Пленные бросились в сторону.

Австрийский фельдфебель спокойно вышел из штаба. Он в бинокль поглядел на бой и подал команду. Пленных повели через великолепный, огромный сад, с розоватыми мраморными статуями, спрятанными в зелени, с клумбами, беседками и бассейнами. Золотые рыбки еще плавали в грязной зеленой воде. Нимфа в рваной казачьей папахе смеялась пустыми глазами. Мы вышли к забору, перелезли через него и пошли полем. Дорога подымалась в гору, за горой расстилался широкий скошенный луг. На лугу стоял в несколько рядов австрийский обоз. Могучие широкозадые лошади были запряжены в массивные обитые железом телеги; но обозники сидели на земле и мирно разговаривали, как будто бой не шел в двух верстах от них, и всебыло в порядке. Я вспомнил наши хаотичные обозы, готовые в панике бежать от первого выстрела, составленные из плохих, разнобойных повозок, запряженных малосильными крестьянскими лошадьми, и сравнение было не в нашу пользу.

Мы проходили рощи, хутора, шли полями и пыльными дорагами и только к полудню сделали привал в каком-то селе. На большом поросшем травой церковном дворе, в навозе и грязи, теснились русские пленные. Их было тут очень много— больше тысячи человек. Местные крестьяне и австрийские солдаты сновали среди них. Пленные продавали шинели, сапоги и разное барахло. Говорили, что все хорошее обмундирование будут отбирать, и они торопились выгоднее сбыть свои вещи.

Худой мрачный австриец долго менял тяжелые покоробившиеся буцы на русские сапоги. Мена не состоялась. Австриец скорбно глянул на высокие голенища желанных сапог и махнул рукой.

— Тебе, русский, добро, — с досадой и грустью сказал он.

— Ну, ну, — ответил пленный, очевидно, опасаясь австрийца, — сапоги-то без подметок.

Австриец усмехнулся.

— Сапоги — нет, — как бы про себя промолвил он, — ты в мир идешь, мы на войну. Плохо есть.

Так думали многие австрийские солдаты — чешские, украинские, венгерские и немецкие крестьяне и рабочие. Они завидовали нам, пленным, так как война для нас уже кончилась, а они должны были итти на фронт.

Им не хотелось воевать за монархию Габсбургов, за страну, в которой их угнетали всю их жизнь. Они шли по принуждению, не любили и боялись своих офицеров и не верили им. И когда они знали, что никто их не слышит, они рассказывали нам о тяжелой походной жизни, о своих семьях, и о том, что им совершенно незачем было итти на войну, так как ничего, кроме голода, страданья и смерти война им не может дать.

Через два часа наша колонна выступила.

По дороге встретили транспорт пленных офицеров. Офицеры смотрели на нас хмуро и неприязненно, и когда молодой и радостный, как теленок, прапорщик подошел к нам, расспрашивая, хорошо ли с нами обращаются и есть ли среди нас раненые, его одёрнул толстый капитан с жестяными глазами.

— Что вы суетесь к нижним чинам, прапорщик, — сказал он так громко, что мы его слышали. — Вся эта сволочь всегда рада итти в плен.

Мы невесело смотрели на офицеров. Они были чужие, были враги, и все мы, грязные, измученные и завшивевшие, прошедшие через фронт, ясно и просто сознавали это.

Ночевали мы в Раве-Русской, большом и грязном галицийском городке, где жили евреи, украинцы и поляки, и церковь и синагога стояли на одной улице, отделенные двумя домами и зловонным пустырем. Здесь очевидно был сборный пункт для пленных со всего фронта. Все дворы и площади

городка, его окрестности были забиты русскими. Их шумные таборы и становища тянулись на несколько верст, и эти люди, только что вырванные из боев, производили странное сумбурное впечатление. Они были довольны. Смерть больше не грозила им. В плену во всяком случае было безопасно, и они не без удовольствия поглядывали на австрийских часовых, которых они теперь могли не бояться.

Они были голодны. Войну отработали как большую работу и, усталые и успокоенные, думали только об еде и о сне. Кожаные пояса, погоны, кокарды с фуражек, военные значки и медали обменивались ими на хлеб. Между ними уже шныряли какие-то неизвестные люди в штатском и меняли русские деньги на австрийские. Пленные с любопытством расспрашивали их о жизни новой, незнакомой им страны, о городах, о крестьянах, о здешних обычаях, о ценах на хлеб.

Массы пленных были благодушно и радостно настроены. Здесь не было боев, были мирные деревенские улицы, по которым бродили жирные украинские свиньи, и сзади улиц — темные прохладные сараи, еще полные сена, глядели покойно и уютно.

И когда маленький городской вокзал выбрасывал синие колонны австрийцев с винтовками, патронными сумками и мешками, быстрым маршем проходившие через Раву и скрывавшиеся в полях и переселках, ведущих к фронту, пленные смотрели на них с сожалением и довольством. Жалели австрийцев, которым надо было еще воевать, и радовались за себя, уже окончивших войну.

В Раве стояли несколько дней. Выступили внезапно, без предупреждения. Нас разбудили рано утром, когда солнце еще не одолело рассвета, дали только собраться и повели, даже не покормивши.

В нашей колонне было человек триста. Австрийский цугсфирер — взводный командир — расставил немногих солдат по бокам колонны, маленькие отрядики стали впереди и сзади, и мы тронулись.

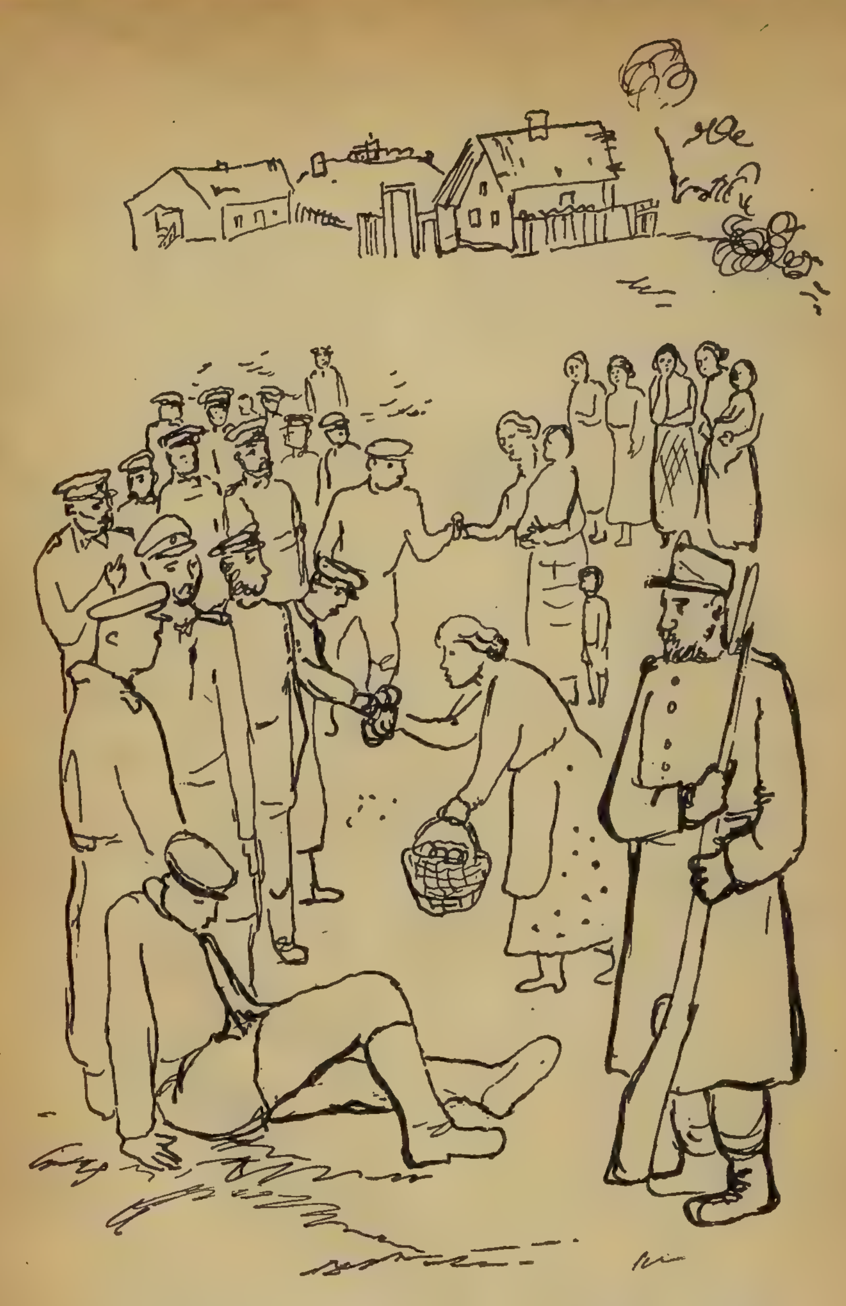
Прекрасная шоссейная дорога скоро пошла лесом. Здесь

еще недавно прошел кровавый ураган австро-германского наступления. Стволы деревьев были иссечены пулями и шрапнелями. Разбитые повозки валялись на полях возле дороги. Спицы размозженных колес просовывались сквозь отверстия повозок, как осколки костей из человеческого тела. Жестяные коробки из-под патронов и позеленевшие кучки патронных гильз виднелись в канаве, тянувшейся вдоль дороги и, вероятно, служившей окопами. Лошади со вздутыми животами, вот-вот готовыми лопнуть, лежали, как бы в усталости откинув вытянутые ноги. В одном месте, возле рыхлой, еще свежей насыпи, были свалены грудой рыжие австрийские ранцы. Насыпь была сделана наспех, и тошный, прогорклый запах мертвечины истекал из нее.

Иногда мы отдыхали. Из сопровождавших нас повозок раздавали белые толстые галеты. К вечеру дошли до какой-то деревни и заночевали на ее окраине возле пруда. Тут впервые за много дней можно было помыться. Холодная вода не смогла смыть серой засохшей грязи и пота, за многие дни битв и походов впитавшихся в наше белье. Уже выстиранное, оно оставалось темным и грязным.

Из деревни к нашему становью приходили женщины. Их мужей и сыновей давно угнали на фронт, война несколько раз прошла через их деревни, поля были усеяны осколками снарядов и окопами, и все они жили в тяжелой нужде. Они ласково и печально говорили с нами, жалели нас, никакой злобы не было у них к нам, к врагам, убивавшим их родных, разорявших их землю. Они расспрашивали о наших женах и детях, совали нам репу и вареную картошку. Среди них была высокая худая женщина, совсем еще молодая. Она предложила постирать наше белье и починила одному из нас разорванные шаровары.

— Вы подневольные, — плача говорила она, — как и наших, вас погнали на эту проклятую бойню, и разве есть за что? Ваши жены плачут по вас в России, как мы плачем здесь о наших мужьях. Нам не нужна война. Война для богатых людей. Так пусть они воюют сами!



... Из деревни к нашему становью приходили женщины.

Наш конвой не трогал их. Это были молодые здоровые немцы из Штирии, и они хорошо обращались с нами и совсем не торопились обратно на фронт. Их начальник был хмурый молчаливый человек в синих очках, часовщик из Зальцбурга.

Сначала он был сердит и огрызался на нас, даже хватался за винтовку и кричал, что застрелит всякого, кто выйдет из рядов. Но потом он стал мягче. Разговорился со мной, показал портрет своей жены с двумя детьми, и на привале быстро и ловко, одним перочинным ножичком, починил мои остановившиеся часы.

Мы подходили к Перемышлю, мощной австрийской крепости, под которой во рвах, в волчьих ямах и на колючей проволоке погибли десятки тысяч русских и австрийских солдат. Крепость только недавно была в бою, и теперь шла кипучая работа над исправлением ее страшного туалета. На исковерканных тропинках еще лежали кучи навоза, неубранного человеческого кала, истерзанные остатки обмундирования и оружия, патронные гильзы и ржавые груды проволоки, изрезанной ножницами во время атаки и вырванной из земли снарядами. Тяжелая вонь шла от всего этого мусора войны, гниющего в грязи и крови. Его убирали, сваливали в кучи, увозили на грузовиках и сейчас же рыли новые ямы, в них втыкались короткие, свежеотесанные колышки остриями вверх, и вокруг проводили заграждения из колючей проволоки и насыпали брустверы.

Мы молча проходили мимо. Церковные колокола громко звонили в городе, там шли торжественные молебны, и ксендзы в белых стихарях и попы в парчевых ризах благодарили католического и православного богов за дарованные победы. Крестный ход вышел за город: мальчики звонко и весело пели, и священники кропили колючую проволоку и волчьи ямы, благословляя всю эту иссеченную и окровавленную местность.

В городе кипела грязная, шумная жизнь, какая бывает в портовых городах. На улицах было много военных — офице-

ров и солдат. Немцы, венгерцы, чехи, поляки, украинцы, сербы и хорваты маршировали в своих серо-голубых мундирах, окуренных дымом и копотью войны. Они знали, что через несколько дней им придется оставить Перемышль — последний их этап к фронту, где они были уже несколько раз, и веселились, как матросы на берегу перед дальним плаванием.

Нас привели к длинному, отдельно стоящему сараю с двориком, охваченным забором. Здесь мы расположились на ночь.

В походных кухнях привезли пищу — жирный суп с мясом и хлеб из сеяной муки. Многие из пленных уже обзавелись трубками и курили нестерпимо крепкий и вонючий тютюн.

Утром к нам зашел высокий молодой пленный. Лицо у него было курносое, серые глаза под очками глядели рассеянно, на рукаве был красный крест. Он был в домашних войлочных туфлях, без шинели, с балалайкой.

Он улыбнулся нам, всем сразу, показав в улыбке белые, радостные зубы. Оказалось, что он уже два дня был в Перемышле, и его тыкали из одной партии в другую.

— Пристану к вам, — беззаботно сказал он и засмеялся, — а то я совсем неприкаянный.

Через четверть часа мы уже знали его историю. Его звали Васька Шубин. Он был медицинским фельдшером 139 пехотного полка. При отступлении старший врач оставил его в деревне с тяжело ранеными, обещая прислать повозки. Повозки опоздали, и австрийский разъезд захватил раненых.

— Я выхожу из хаты, — рассказывал Шубин, — смотрю, — австрийцы. Они всполошились, а я и того больше. Бросился в избу, а они за винтовки. Я руки к богу поднял, — «сдаюсь», говорю, со всем своим раненым штабом, принимайте дела. Они поплевались и приняли. Я рад был, что с ранеными разделался. Что я один с ними сделаю без всякой помощи и лекарств?

Он весело захохотал. Зубы его сияли, как клавиши нового рояля.

— Балалайка уцелела, — сказал он, нежно погладив инструмент. — Уж я вам сыграю.

Утром нас посадили в поезд и отправили в Венгрию. Навстречу все время попадались воинские поезда, направлявшиеся на фронт. Мне запомнился один эшелон. Он состоял из совсем молодых солдат последнего призыва. Среди них не было ни одного бородатого лица, и гнетущее впечатление производила эта молодая, густая и крепкая человеческая поросль, предназначавшаяся на беспощадное истребление. Австрийцы были радостны и беззаботны, как телята, прыгающие перед бойней. Их молодость и неопытность создавали им иллюзии. Война представлялась им, как грандиозная, многокрасочная батальная картина.

Жалко было их.

Мы миновали Карпаты. Поезд несся вниз по узкому горному склону, далеко внизу виднелись игрушечные коровы, детские домики. Крутой обрыв низвергался вниз, кое-где поросший травой, как зеленой пеной. Колеса нестерпимо визжали, вагоны раскачивались с необыкновенной силой. Мы проезжали мост над какой-то горной рекой, и минуту казалось, что поезд висит в воздухе. Показалась станция, но поезд не остановился. Черноусый костистый человек в штатском, увидев нас, погрозил кулаком и сделал рукой жест, как будто режут горло. В Венгрии нам, правда, не часто, но все же приходилось натыкаться на озлобленное к нам отношение. Мне говорили, что венгры до сих пор не забыли 1848 года, когда солдаты Николая Палкина помогали Габсбургам заливать кровью восставшую против Австрии страну.

В Мармарош-Сигете, живописном городе, расположенном у Карпат, нас держали два дня. Там шла окончательная отсортировка пленных по лагерям, и наша партия была назначена в Богемию.

Поезд незаметно миновал границу Австрии, и только по

отношению населения к нам мы скоро узнали, что находимся в другой стране — в Богемии. На каждой станции к нашим вагонам бежали женщины со свертками, кувшинами и корзинами. Они, воровски оглядываясь, не смотрят ли австрийские жандармы, важные и на первый взгляд мало подвижные люди с лакированными черными ведрами на головах (такие у них были головные уборы), совали нам в окна всевозможную снедь: белые булочки, колбасу, огурцы, сливы, сало и молоко.

Мы выбрали вагонным старостой Турнера, черного, похожего на грузина, пленного, своей сдержанностью и внутренней какой-то человеческой крепостью привлекшего наши симпатии и доверие. В углу у Турнера скоро накопились горки провизии и их беспрерывно делили между членами артели. Но голод и жадность к еде были так велики, что люди не могли насытиться. Они беспокойно ходили с оттопыренными губами и жадными глазами, икая и ковыряя в зубах, и каждый раз подбегая к окнам посмотреть, не несут ли чешки еще провизию.

Некоторые, самые ненасытные, выскакивали на площадки или свешивались из окон и жалобными голосами выклянчивали подаяние.

Наше путешествие закончилось на маленькой станции. Поезд долго стоял на запасных путях, и никто не мог сказать, что с нами будет дальше и куда нас повезут. Часовые, которых мы спрашивали, тоже ничего не знали или не хотели говорить. Неожиданно пришла рота австрийцев — совсем стариков — это был первый призыв ландштурма (ополчения), и нам велели собрать вещи и выходить из вагона. Шли неохотно. Солдаты не любят перемен — перемены могут означать новые опасности и беды.

И когда нас построили и, окружив ландштурмистами, повели по прекрасно вымощенной дороге, многие с сожалением оглядывались на оставленные вагоны.

Нас привели в Липник — маленькую, расположенную в сосновом лесу деревушку, недалеко от которой стояли камен-

ные казармы-бараки. В этих бараках нас разместили временно — тогда кончилась постройка большего лагеря в Миловицах, рассчитанного на несколько тысяч человек, и во всех окрестных местах тем временем сосредоточивались значительные группы пленных.

Главным начальником всех этих групп был старый оберлейтенант (подполковник), угрюмый, массивный человек, у которого подбородок выдавался, как радиатор у автомобиля. Какая-то глухая и бездушная жестокость отличала все его поступки. Австрийские солдаты и даже офицеры боялись его не меньше, чем мы. Он чувствовал потребность душить то, что выходило из узких рамок военной дисциплины. Его очевидно оскорбляло все человеческое, что он видел у солдат.

— Вы не люди,— кричал он им,— вы — солдаты, вы не ходите, а маршируете, вы не думаете, а исполняете приказы.

С нами он обращался еще хуже, чем с австрийцами. Он находил для нас самые грубые и оскорбителные слова. Мы были для него человеческим мусором, он унижал нас при каждом удобном случае и ревел нам прямо в лицо, брызгая слюной: «Verflüchte russische Schweine»[1]. Он часто присутствовал при том, как мы вставали, обходил наши помещения и заглядывал в наши вещевые мешки, не украли ли мы чего-нибудь. С первого же дня он организовал для нас работу — заставлял рыть в лесу канавы и собирать листья земляники, из которых, как он говорил, должен получаться для пленных прекрасный чай.

В нашей группе был кубанский казак, дикий коренастый человек, совершенно примитивный в своей смелости и стремлении освободиться из плена. Казак похаживал вокруг бараков, внимательно поглядывая узкими глазами вепря на лес и белые дороги, уходившие вдаль между зелеными массивами деревьев. Для него, не знавшего ни одного слова по-чешски и

---

[1] Проклятые русские свиньи.

по-немецки, побег был безрассудным предприятием, и все же он бежал, даже не сменив своей черкески на другую одежду. Он пропадал два дня, и потом его привели. Обер-лейтенант синий от душившей его злобы, вышел к нему. Вооруженные часовые окружили казака, но эта охрана показалась оберсту недостаточной. Он приказал капралу, начальнику караула, застрелить казака, если тот сделает хотя бы один шаг. Капрал, маленький немец, по виду честный бюргер, застыл с винтовкой у ноги и безумными от страха глазами уставился на казака.

Я должен был переводить казаку вопросы обера, и, не меняя тона, сказал ему, чтобы он не шевелился во время допроса. Казак усмехнулся. Его скуластое лицо было спокойно, Он с любопытством посмотрел на бесившегося обера, даже одобрительно хмыкнул, услыхав его ругательства, и, отвернувшись, сказал:

— Ты ему передай, что я в их стране не останусь. Засмеют дома. Все равно сбегу.

Я постарался замять его слова, но оберст, оказывается, понял смысл сказанного казаком. Он вдруг перестал сердиться и приказал увести казака. Капрал, покачиваясь на ослабевших ногах (он потом признался мне, что был близок к обмороку, так как очень боялся, что ему придется застрелить казака), увел пленного и запер его в кладовке с зарешетенным окном. Ночью казак выворотил ржавую решетку и выскочил в окно. Ландштурмист-часовой с воплем страха выстрелил в него, желая скорее поднять тревогу, чем убить бегущего. На выстрел выскочили со всех сторон австрийцы. Казак, низко согнувшись, бежал к лесу. Австрийцы крича преследовали его. Они не стреляли до тех пор, пока не выбежал обер с револьвером. Увидев его (он был в штанах и ночной рубашке), солдаты стали стрелять пачками. Казак упал, опять вскочил и, погрозив назад кулаком, скрылся в лесу.

Через полчаса его принесли.

Тупое лицо его было спокойно. Зубы молодо блестели

из-под раскрывшихся, еще по-живому ярких губ. В левой руке были зажаты смятые листья. Его положили на землю. Австрийцы стояли с растерянными лицами. Обер подошел с револьвером в руке. Капрал отчаянным голосом доложил ему, что бежавший убит. Обер приказал мне обыскать казака. Я едва мог выполнить приказание. Горячий, липкий пот покрывал все тело мертвеца. Его рубаха и шаровары у пояса были совсем мокрые. Легкий парок подымался над ним. Столько гремучей энергии, силы и жара было накоплено в этом молодом, крепком теле, что и после смерти оно еще излучало последние потоки теплоты и остывало медленно и неохотно.

После этого случая надзор за нами усилился. Чехи-часовые смертельно боялись обера и только, когда он уезжал, осмеливались говорить с нами.

Наша жизнь в Липнике еще не была упорядочена. Мы жили здесь только временно, ожидая, когда закончится постройка большого лагеря в Миловицах. В Австро-Венгрии было уже много таких лагерей, но число их все росло вместе с новыми тысячами пленных, приходившими с фронта.

Скоро нам пришлось увидеть и место, где мы должны были потом провести целые годы. Лагерь строили в большой низине, с одной стороны примыкавшей к дороге, а с другой — подходившей к прекрасному сосновому лесу, опушка которого заросла кустами и травой. Местность была чудесная и здоровая, но лагерные бараки были омерзительны. Внутри их были деревянные нары в два яруса, и видно было, что они рассчитаны на столько людей, сколько могут вповалку улечься рядом. Сквозь щели между досками пробивался свет, и можно было представить, как холодно здесь должно быть зимой.

Бараки строили пожилые чехи — молодые давно уже были на фронте. Постройка — веселое зрелище, и радостно бывает смотреть, как из мертвых плоских досок и бревен вырастают

живые выпуклые здания, как возникают новые формы и линии. Но тут было совсем другое — строили гигантскую тюрьму, место для заключения нескольких тысяч людей. Уже по краям лагеря, границы которого были намечены, вбивали глубоко в землю деревянные столбы, и на земле лежали катушки колючей проволоки. Проволокой нас должны были отделить от всего мира, от живых, свободных людей.

Наконец настал день переселения.

Наши помещения отводились под австрийские госпитали, и мы должны были очистить их в спешном порядке. Каменные бараки отнимали у нас, мы переходили за колючую проволоку в черные деревянные гробы, построенные в Миловицах.

Было только одно утешение — мы избавились от обера, оставшегося в Липнике.

Шесть километров наша колонна, навьюченная своими пожитками, прошла в два часа. В лагере уже были пленные, пригнанные сюда из других мест. В каждом бараке помещалось от трехсот до четырехсот человек, и двести человек, пришедших из Липника, заняли отдельный барак. Пользуясь сравнительным простором, мы расстелили наши тюфяки с промежутками в несколько вершков один от другого, вбивали в стены гвозди для одежды и вещевых мешков и выметали мусор и пыль из барака.

В первое время было весело, так как в лагере было свыше двух тысяч человек, и мы находили среди них много знакомых. В эти дни в новый лагерь непосредственно с фронта поступали эшелоны новых пленных. Они проходили карантин, их шинели, гимнастерки и брюки были измяты и издавали удушливый запах от дезинфекционных камер, где из них паром вымаривали вшей и микробов. Лагерь не казался им столь ужасным, как нам, уже успокоившимся от фронта и поживших в каменных бараках, где не было забора из колючей проволоки. Лохматые и заросшие бородами, только-только смывшие с себя грязь и кровь, они радостно расхаживали по лагерю и любовно осматривали длинные пустые аллеи, ху-

досочные кусты и черные стены бараков. Они мечтательно глядели вдаль, туда, где виднелись черепичные крыши чешской деревни. Все тут казалось им прекрасным и милым, символизировало для них мир и тишину, отсутствие окопов и стрельбы, и в первые дни своего пребывания в лагере они были счастливы. Они с царственным видом отправлялись спать и раскидывались на тоненьких соломенных тюфяках. Они даже смеялись от счастья и перемигивались друг с другом. Им казалось, что они достигли тихой пристани. И разве могли они знать, что то, что ожидало их, — тиф, дизентерия, холод и медленное, длительное умирание от голода, — разве могли они думать, что все это вряд ли лучше фронта?..

Но в начале нашего пребывания в Миловицком лагере, не зная сроков окончания войны и пределов наших мучений, мы были еще полны надежд, и будущее не казалось нам черным.

2. ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

В нашем большом лагере понемногу складывалась своеобразная жизнь. У ворот стояли часовые, у них был приказ не выпускать пленных из лагеря.

Среди всей массы пленных оказались портные, сапожники, кузнецы, столяры и люди других профессий, и их понемногу отбирали в лагерные мастерские. Работать в мастерских считалось выгоднее, чем оставаться в бараках, так как и работа по специальности была приятнее черной и трудной работы, на которую посылали пленных, и кроме того в мастерских были шансы подработать. Обжившись и узнав здешние условия, мастеровые приспособились и стали потихоньку брать частные заказы. Среди них были превосходные работники, они часто ходили в соседние деревни и городки за покупками, и скоро у них появились заказы и от чехов. У многих из них завелись деньги, другие пленные получали деньги из России, и они перешивали себе костюмы и казенные ботинки (буцы), чтобы быть понаряднее. Интеллигенты и наиболее грамотные

из пленных устроились в канцеляриях. Хотя им не платили жалованья (или платили несколько крейцеров в неделю), но эта работа давала известные привилегии. Можно было жить в отдельном бараке, чаще ходить в город и получать лучшую пищу. Низшая лагерная администрация — начальники рот, батальонов и бараков — составилась тоже из русских. На эти должности обычно назначались унтер-офицеры и фельдфебели, и они хорошо справлялись со своим делом и оказывали австрийцам немалую помощь. Как правило, пленные их не любили, так как старшие подмазывались к австрийцам, да и назначались они большей частью из людей, готовых при случае продать своих.

Все пленные имели свои номера, которые были обязаны носить нашитыми на гимнастерках или на фуражках. Номера были большие и уродливые — кусок бязи величиной с ладонь с намазанными черной краской цифрами, но зажиточные и тут устроились. За пять крейцеров Мухин, суздальский иконописец, маленький полузасохший человек с чугунными глазами, писал узенькие щеголеватые номера, которые можно было подшить под поля фуражки так, что они были мало заметны. Даже коменданта лагеря назначили из пленных. Правда, и он не пользовался полной свободой, но власть у него была большая, и он мог сделать с нами все, что ему было угодно. По его заявлениям, например, австрийцы арестовывали нас, наказывали или переводили на тяжелую работу. Он обладал правом непосредственных докладов генералу — главному начальнику лагеря.

Все время комендантом нашего лагеря был Ловик — фельдфебель из писарей. У него были живые зеленые глаза на тяжелом и вязком, как непропеченый хлеб, лицо и белые монашеские руки, слишком короткие для его грузного большого тела. Ловик жил в отдельной комнате, завел себе денщика, и ему готовил специальный повар. Деньги у него водились. Он подворовывал на продуктах, которые выдавались на пленных, и брал взятки. За деньги он устраивал на хорошую работу или переводил в лучшие помещения. Он выдавал себя

за инженера. Впрочем очень многие пленные придумывали себе разные профессии. Говорила ли в них обычная человеческая хвастливость, хотели ли они улучшить свое положение, или, может быть, угнетенные и обезличенные пленом, они старались всеми доступными им средствами восстановить свое попранное человеческое достоинство? .

Но все рекорды хвастовства побил Глузман — санитар из госпиталя. Крошечного роста (удивительно, как его взяли в солдаты!), с вечно сияющими глазами и с какой-то торжественной улыбкой на лице, Глузман не знал ни слова по-немецки, но по-еврейски говорил он с немцами с такой самоуверенностью, что они верили его знанию немецкого языка, хотя удивлялись, какое у него искалеченное произношение. Глузман неведомыми нам путями ухитрился уходить один без охраны из лагеря. Самоуверенность его была так велика, что даже часовые не останавливали его, когда он, выпятив птенцовую грудишку и сияя глазками, победоносно проходил мимо них. Он носил на куртке какой-то непонятный значок с красным крестом и кроме того огромную повязку с крестом же на руке, обзавелся портфелем, был вечно озабочен, останавливал комендантов бараков, расспрашивал их и, не дослушав, что они говорят, с понимающим видом кивал головой и бежал дальше. Со стороны казалось, что у него важные дела, и когда он со своим портфелем мчался по лагерю, австрийцы дружески здоровались с ним, считая его доверенным лицом самого генерала. Трудно было поверить, что этот торопливый, хвастливый человек (он любил рассказывать про свои подвиги на войне) способен на что-нибудь путное. Скоро мы узнали, что он ходит в деревню Миловицы с визитами во многие дома и выдает себя за врача. Он, хмурясь и мыча, выстукивал больных, прощупывал им селезенку, заставлял показывать язык (он видел, как все это проделывал врач в госпитале) и прописывал порошки и капли. Впрочем названия лекарств он не писал, а только называл, и делал это под тем предлогом, что русскому врачу тут запрещена практика. Дело же было в том, что он не умел писать

по-латыни, а названия лекарств запомнил, когда делал обходы с врачом по баракам.

Погиб Глузман быстро и бесславно. Погубила его мелочь. Ничтожный, весь забрызганный прыщами австрийский рекрутик вдруг остановил его по дороге в деревню и спросил, по какому праву он ходит один без конвоя. Глузман закричал на него, тыча ему в нос свой значок и портфель, но рекрутик, видимо озлобленный сознанием своего ничтожества и желанием удостовериться, что есть люди, еще ничтожнее его, ухватил Глузмана за плечо и привел его в караульное помещение.

Все раскрылось с катастрофической быстротой. Как всегда в таких случаях, вдруг объявились откуда-то десятки людей, которые стали беспощадно разоблачать Глузмана. У него отобрали значок и крест — все его ордена, выгнали из госпиталя и поселили в лагерном бараке. Он завял, затих и скоро перевелся в другой лагерь. Там он вероятно взял свое. Люди, подобные ему, подымаются как ваньки-встаньки.

Постепенно в лагере происходил своеобразный естественный отбор пленных: выделялись самые сильные, умелые, ловкие и богатые, они устраивались отдельными группами, артелями и промышляли чем могли. Писаря, ремесленники и вольноопределяющиеся имели свои особые бараки. В них было немного чище и благоустроеннее, а зимой теплее, чем в остальных бараках, люди жили там не так скученно, тюфяки были потолще, и чувствовалась некоторая зажиточность. Но таких бараков было пять или шесть на весь лагерь, в них жило только несколько сотен самых богатых, крепких и наиболее приспособленных к борьбе за жизнь пленных, вся же остальная масса должна была обходиться одним казенным пайком, скудным и недостаточным.

В начале пятнадцатого года пленных кормили еще сносно, давали по фунту хлеба в день на человека и суп с мясом. Но с каждым месяцем, по мере того как продолжалась

война и истощались средства блокированных со всех сторон центральных держав, паек становился все скуднее, и голод в лагерях быстро рос. Все, кто мог, записывались на полевые работы, на шахты или на фабрики. К концу войны сотни тысяч пленных жили по чешским, немецким и венгерским деревням без всякого надзора, под ответственностью своих хозяев. Многие из них на зиму возвращались в лагерь, но были счастливцы, которые навсегда вырывались из лагерей и целые годы оставались в деревнях.

Я уже говорил, что нары в бараках были расположены в два яруса. Места в верхнем ярусе считались лучшими—наверху было больше воздуха и света. Но все же многие из нас предпочитали нижние места. Потолок нависал там так низко, что человек не мог стоять, выпрямившись, но зато не надо было карабкаться наверх по неудобной лесенке, и люди, слабые от истощения, очень с этим считались. Теснота не мешала им, особенно зимой. Пленные не брезгали друг другом и охотно ложились рядом. Тепло, шедшее от тел соседей, было самым главным теплом, согревавшим их, так как огромные чугунные печи топили мало, и бараки промерзали насквозь.

Уже первые месяцы лагерной жизни создали свой особый уклад и быт, какой создается в тюрьмах и казармах. Появилась тайная торговля. Самые пронырливые с непостижимой быстротой и смелостью заводили подпольные связи с австрийцами и через них с окрестным населением. Установились цены на продукты и носильные вещи. Продавались и покупались русские деньги. Те, кому везло, прятали деньги до возвращения в Россию. Уже много времени спустя в лагере называли богачей, скопивших по нескольку тысяч рублей.

Среди торговцев выделялся Юра, грек из Балаклавы. Он был высок, худ и жилист и отличался странной походкой: шел не грудью, а как-то боком, плечом, и сообразно этому поворачивал и голову — словом, шел углом. Происходило это, может быть, потому, что Юра сильно косил и не мог прямо смотреть на человека. У него были пышные усы, и он холил их и обладал целой коллекцией бинтов для них. В дви-



... Нары в бараках были расположены в два яруса.

жениях он был стремителен, в разговорах тоже и умел обойти кого угодно так ласково и легко, что противостоять ему было очень трудно. С первых же дней своего пребывания в лагере Юра занялся торговлей. Нельзя было понять, откуда он достает продукты, но доставал он во всякое время все, что ему было нужно. Слава его была так велика, что в шестнадцатом году, когда усилился голод, австрийские офицеры поручили Юре покупать им масло, сало, мясо и хлеб. Каждое утро Юра с походным мешком за плечами в сопровождении австрийца уходил из лагеря.

— Юра пошел на базар,—говорили пленные.

Возвращался он иногда поздно вечером, и австриец нес больше груза, чем он. Во время своих экскурсий Юра кормил его и поил ромом, и голодный солдат целиком подчинялся ему.

Юра поставлял только дорогие вещи—ветчину, сыр, кур, белый хлеб, яйца, масло, он работал только на богачей, остальные же продукты поставляли другие торговцы из пленных. Были специалисты по картошке, по черному хлебу, по рому, и торговля у них шла бойко. В самые голодные годы в лагере можно было достать провизию, но стоила она конечно непомерно дорого и была доступна лишь немногим.

Выпускали из лагеря не всегда, но было много путей обхода, и ими пользовались. Например, кухари ходили в соседние деревни за продуктами, сапожники и портные за кожей, нитками и пуговицами, и кроме того и сами австрийцы тайком уходили с русскими, так как им всегда что-нибудь при этом перепадало.

У Юры, у Ловика, у Левита, начальника портных, и у некоторых других пленных были свои квартиры в окрестных селениях, где их ждали и принимали всегда. Чехи поддерживали с лагерем оживленные сношения. Они обменивали на продукты вещи из получаемых пленными посылок, шили обувь у лагерных сапожников и продавали в лагерь картошку, ром и вино. Особенно охотно покупали они у пленных кустарные изделия. Кустарная работа прочно привилась у нас

й нашла самое широкое распространение. Делались резные деревянные шкатулки, табакерки, ящики, выжигались тарелки и блюда, игрушки и мелкая мебель. Из алюминия выделывали кольца, пояски, из кусочков дерева, скрепленных проволокой,— особые изгибающиеся змеи, ложки и другие вещи.

Мухин, суздальский иконописец, пытавшийся писать иконки и бросивший это занятие за отсутствием сбыта, научился прекрасно вырезать из дерева людей и животных. Он был зол, скрытен и осторожен и всеми своими манерами походил на хорька. Он сумел подмазаться к Ловику, а через него к генералу, начальнику лагеря. Мухин вырезал для генерала группу, изображающую австрийского санитара, перевязывающего раненого русского, и отказался взять за нее деньги. Расчет его оказался верен. Он получил ряд льгот и, что для него было очень важно, право уходить когда угодно из лагеря в сопровождении австрийца. Его изделия пользовались большим успехом среди чехов, и Мухин, жадный и скупой, работал и по ночам. Его у нас не любили за злость и подхалимство, и когда он заболел тифом, вещи его безжалостно растащили.

Среди кустарей был еще Швандин. Он артистически делал гитары, балалайки и даже скрипки. Он свил себе гнездо на верхних нарах нашего барака, отгородился от соседей фанерой и пологом и завел себе большой сундук, который запирал особым каким-то замком. Он не любил работать на людях, видимо берег тайну своего искусства и в самом деле работал превосходно. Когда у нас в лагере завелся оркестр, он по хорошей австрийской скрипке вызвался сделать такую же, загородился в своем гнездышке и в десять дней выпилил деку. Потом я слышал его скрипку в оркестре — она звучала неплохо, и Коган, лучший наш лагерный скрипач, хвалил ее.

В лагере Швандин, Мухин и подпрапорщик Козеев, начальник сапожной мастерской, образовали ядро церковного совета. Они выхлопотали у австрийцев разрешение на устрой-

ство лагерной церкви, что было легко, так как австрийцы поощряли религиозные церемонии и даже иногда присылали в лагерь священника. Под церковь отвели огороженную часть пустого барака, устроили амвон, навешали образа и лампадки, несколько лубочных картин религиозного содержания, а над входом прибили крест, выточенный Швандиным.

Главную роль в церковном совете играл Козеев, низкий, но непомерно широкий человек, слепленный из четырехугольных кусков мохнатого от волос мяса. Голос у него был густой и низкий, лицо бульдожье, заросшее смоляными волосами, и на лице — неожиданно чистые и ясные голубые глаза — как два озера в болоте. Козеев был деспотичен и тяжел на руку, один из старых фельдфебелей, которых солдаты метко прозвали шкурами.

В церкви он бывал ежедневно, при чем любил запираться там, когда никого не было. Он зорко следил, чтобы его сапожники по субботам ходили в церковь ко всенощной, и требовал от комендантов бараков, чтобы они гоняли (он так и говорил «гоняли») людей на молитву, так как большинство пленных не хотело посещать церковь. Его боялись и слушались. Кто-то пустил слух, что он тайно ведет списки всех пленных, замеченных в чем-нибудь плохом, и эти списки собирается передать куда надо по возвращении в Россию. Я допускаю, что он и в самом деле завел такие списки, так как его тупая жандармская душа возмущалась ослаблением дисциплины среди пленных, которые, по его мнению, были солдатами действительной службы. Ловик рассказывал, что Козеев как-то потребовал личного рапорта у генерала и представил ему свой проект ежедневного обучения солдат строю, но генерал, похвалив Козеева за солдатское сердце, все же отклонил его предложение за отсутствием инструкций на этот счет.

Конец Козеева наступил неожиданно. В лагерь прибыла новая партия пленных. Среди них был Еремеев, рослый кудрявый парень, донецкий шахтер. Увидев Козеева, Еремеев скосился, позеленел и бросился на него с кулаками, крича:

— Вот где я нашел тебя, шкура царская, вот где ты!

Козеев неожиданно для всех струсил и побежал от него рысью. Еремеев гнался за ним и с яростью ревел:

— Шкура царская, на фронте не утопили, здесь дотопим...

Через час весь лагерь знал, что на фронте Козеева за жестокое обращение солдаты его роты бросили в отхожее место, и спасли его только случайно, вытащив железными крючьями.

Опозоренный Козеев потерял всякий авторитет и должен был уехать из лагеря. Еремеев добил его.

Власть в церкви перешла в руки Мухина, сильно обрадовавшегося падению Козеева, так как он боялся подпрапорщика.

— В отхожее бросили,— говорил он, пряча чугунные глазки и часто потирая руки,— разве можно такого опоганенного человека держать при святом деле?

Мастерские были расположены в центральной части лагеря и отгорожены проволокой от остальных бараков. Тут работали с раннего утра до сумерек, и работа шла преимущественно на пленных. Сапожники чинили обувь или шили из старой покоробившейся кожи тяжелые буцы. Обувь чинилась даже такая, которую давно пора было бросить. Бывало, что пленный приносил коменданту барака для смены совсем изношенные и развалившиеся сапоги, комендант сдавал их в мастерскую, а австрийский фельдфебель приказывал их чинить. Чинили скверно — накладывали огромнейшие заплаты разных цветов, так что вместо обуви получалась бесформенная куча старой кожи. Сапожники делали и вольную работу, за нее они платили Козееву, чтобы он позволил им работать в казенное время. Перешивались буцы. Они долго мочились, заново перекраивались, к ним делался наружный носок и высокий наборный каблук. Но лучше всего работали сапоги. Австрийские сапоги не нравились пленным — они были неуклюжи, с низкими, глубоко

вырезанными голенищами. Русские сапоги, шившиеся в лагере, скоро вошли в большую славу, и их много заказывали окрестные жители и австрийские солдаты и офицеры.

Портновская мастерская помещалась рядом с сапожной. Половина барака была занята под склад, в другой работали портные. Тут хозяином был Левит, высокий человек с расчесанной на стороны черной бородой и синими глазами. Левит был молчалив, редко кто слышал его голос, но молча он превосходно управлялся в своей мастерской. К портным привозили огромные круглые штуки дрянной бумажной материи, и из нее они шили гимнастерки и шаровары для пленных. Кроил обычно Левит. Он снимал ловко сидевшую на нем тужурку, завертывал рукава и, неожиданно обнаружив на худых руках сильные мускулы, широким резаком кроил положенную во много рядов материю. Трудно было понять, что он за человек, но зла он никому не делал, и его портные и другие пленные относились к нему хорошо.

Лучшим портным в лагере считался Абрам Мазель—веселый желтенький (желтыми у него были волосы, лицо и глаза) человек с гнилыми зубами и хромой. Он страстно жаждал вернуться в Россию, так как из-за простреленной ноги его должны были отпустить домой. Слава Мазеля упрочилась после того, как он сшил мундир самому генералу. Мазеля рекомендовал генералу обер-лейтенант Вегер, которому он сделал китель, и Левит безбоязненно подтвердил Вегеру, что за Мазеля он ручается.

Желтенького портного привели в генеральский кабинет, помещавшийся вне лагеря, в каменных бараках, и Мазель, дыша в сторону и становясь на цыпочки, обмерил грузную генеральскую фигуру. Он потом рассказывал, что ни капельки не боялся и, примеряя китель, даже спросил генерала, не жмет ли ему подмышками.

Генерал заплатил три кроны, и Мазель, расхрабрившись, спросил его, не может ли он как инвалид рассчитывать на обмен. Вегер, присутствовавший при примерке, бешено вздыбил свои усы, но генерал не рассердился и, пожевывая ко-

ровыми губами, ответил, что обмена еще нет, а если будет, то обменяют и Мазеля.

Из лагеря нас выпускали довольно редко. Сопровождали нас в город, куда мы ходили за покупками, солдаты из лагерного караула. Выход из лагеря ценился пленными очень высоко, так как огороженные колючей проволокой черные бараки надоели досмерти.

Конечно не было примера, чтобы кто-нибудь убежал с прогулки, так как этим он подвел бы всех своих товарищей. Бежали иными путями, и побегов было особенно много в шестнадцатом и семнадцатом годах, когда положение в лагерях ухудшилось и начали кормить совсем плохо. Убежать из лагеря было легким делом. Ночью можно было подлезть под проволочный забор, охранявшийся весьма слабо, одним примерно часовым на каждые полтораста-двести метров, да и часовые были из ландштурма [1] — слабые, пожилые люди, вооруженные старинными винтовками, в роде наших берданок. Главная трудность побега заключалась в том, чтобы суметь пробраться через всю страну до самой линии фронта. Насколько я знаю, это удавалось очень немногим, и почти всех бежавших схватывали через один-два дня и доставляли обратно в лагерь. Наказание за побег было не строгое — две недели ареста, и вот многие уже бежали просто потому, что чересчур тяжело и скучно было в лагере и хотелось побродить по стране. Ловили беглых жандармы, и они же приводили их обратно в лагерь. Ловик встречал беглецов ругательствами и докладывал обер-лейтенанту Вегеру. Вегер равнодушно кивал в ответ — ему в сущности было все равно, побеги происходили из всех лагерей, особых опасений австрийцам не внушали и считались в порядке вещей.

Замечательно, что более всего было недовольно побегами свое, русское начальство — коменданты бараков, старшие кухари и вообще все те, кто хорошо устроился в плену. Они боялись, что побеги могут им напортить.

---

[1] Ополчения.

Иногда вместо ареста применялось и другое наказание — очень унизительное и тяжелое. Оно называлось подвешиванием и заключалось в следующем: человека привязывали к столбу за руки и ноги. Руки завязывались сзади у кистей, а ноги у щиколоток, так что привязанный стоял на цыпочках, и, если хотел опуститься на пятки, веревки врезались ему в тело. Подвешивали на час, на два и на больший срок, и бывало, что подвешенный, обессилев, повисал и веревки до крови прорезали его тело.

Но самые большие страдания причинял пленным вечный голод, медленное умирание от истощения. Мучила еще сильно неизвестность, когда кончится война. Конечно по лагерю ходило много слухов, и не проходило месяца, чтобы кто-нибудь не распускал сенсационной вести о том, что уже ведутся мирные переговоры и скоро пленных начнут отправлять в Россию. Такие слухи были особенно сильны в пятнадцатом году, после победоносного наступления австро-германцев. Помню, как чех-подрядчик, производивший у нас в лагере какие-то работы, косоплечий человек с бескровным лицом, на котором желтые усы росли, как поблекшая трава на заброшенном поле, говорил нам, что война закончится не позже, чем через месяц. Он основывал свои заключения не на том, что австро-германцы добьют русских.

— Я видел, — говорил он, — какую массу искалеченных людей привозят в наши госпитали. Вы не знаете, сколько сотен тысяч молодых, цветущих жизней унесла эта война. Я говорю вам, что все они, те, которые вызвали эту варварскую бойню, убедились, что дошли до конца, что такой ужас не может больше продолжаться, и прекратят его. Да, я уверен в этом. Разве они не люди?

Бедный идеалист говорил с большим жаром, но немногие из нас верили ему. Мы хорошо знали, что никакие убийства и разрушения не остановят тех, кто вызвал эту войну и кому она была выгодна. Мир был плохо устроен. И мы узнавали это на горьком опыте, с каждым месяцем войны и плена. Миром управляли холодные, жестокие, хищные и

беззастенчивые люди, бандиты и преступники, и никто при существующем строе не мог обуздать их.

Когда в 1916 году центральные державы предложили Антанте начать мирные переговоры, буйная радость охватила нас. Даже призрак мира, так нужного нам, повеял на нас сладкой надеждой освобождения из плена. И хотя эта надежда не осуществилась, мы долго находились в беспрерывном ожидании конца войны.

На краю лагеря давно уже лежали доски, предназначенные для постройки новых бараков, но бараков не строили, и в этом мы тоже видели близость окончания войны: зачем австрийцам строить новые бараки, если все равно скоро конец?

И вдруг как-то утром начали строить. Рабочие рыли ямы, вкапывали столбы, выводили деревянные стены... Несколько дней глубокое уныние владело всем лагерем. На постройку приходили кучки худых, оборванных людей и молча, с суровыми лицами смотрели, как растут новые бараки.

Значит, еще не видно конца, значит, еще долго придется нам тут мучиться в проклятом Миловицком лагере, если опять готовят новые помещения для пленных...

Я уже упоминал, что в лагере были люди самых различных профессий. На пространстве двух квадратных километров жило несколько тысяч человек. Тут были земледельцы, плотники, столяры, кустари, актеры, музыканты, библиотекари, мелкие чиновники, техники, агрономы, журналисты, наборщики, счетоводы, ювелиры и часовых дел мастера, фабричные рабочие и шахтеры, но больше всего конечно было крестьян. По национальностям пленные делились на русских, украинцев, белоруссов, евреев, грузинов, армян, татар, чувашей, поляков, литовцев, латышей, финнов и эстонцев. Был даже один цыган.

Обжившись в лагере, все они понемногу объединились по артелям, по дружбе, по работе, землячеству или национальностям, устраивали свои общины и кружки. Но чаще всего объединялись по классовым признакам, и не было того, чтобы богатые объединились с бедными или обитатели привилегированных бараков тесно водились с людьми, голодавшими в общих бараках, хотя бы те были их земляками или соплеменниками. И грузинский князь Нижерадзе жил на особом положении у писарей, дружил и пил вино с русскими и евреями, не касаясь своих земляков, а те спали на одних нарах с русскими крестьянами, такими же бедняками, как и они.

Общественная жизнь была довольно сильна в лагере. Австрийцы не мешали культурной самодеятельности пленных.

Раньше всего организовался лагерный хор, организовался почти самотеком, потому что нет, кажется, такого места и положения,— в тюрьме ли, в ссылке, на фронте, в окопах, или, как у нас, в плену,— где бы люди обходились без пения. Песенники собирались чаще всего вечерами, после ужина, где-нибудь на краю лагеря и заводили песни. Лучшим хором считался украинский. Украинцы пели «Закувала та сива зазуля», «Реве тай стоне», «Завещание» Шевченко, и красивые и грустные их песни привлекали густые толпы людей. Скоро выявились и солисты: чахоточный, мелкого сложения человек — Кудрин, обладавший нежным, высочайшим фальцетом, баритон—фельдшер Дудниченко, скоро впрочем ушедший в госпиталь, и феноменальный бас— Сергеев, парикмахер, с лицом крупным и добродушным, как у сен-бернара. Хор разрастался и стал так велик, что его разделили на несколько частей. Лучшие силы были отобраны для театра. Управление театральным хором попало в руки Демидова, хорошего московского регента, и благодаря ему хор стал петь так хорошо, что его вызывали в австрийские каменные бараки давать концерты. Успех хора был велик, и обер-лейтенант Вегер, желая похвастаться, хотел повезти его в Прагу, но не получил на это разрешения.

Демидов много работал с хористами и репетировал с ними

в пустом бараке. Он кидался от одного к другому, держа двумя пальцами камертон, и голосом, мимикой и движениями направлял певцов. В течение двухмесячного его пребывания в лагере все носились с ним и всячески угождали ему, высоко ценя его мастерство. Ловик устроил его в писарском бараке и часто поил ромом, считая очевидно, что хор делает ему честь, как коменданту лагеря. Но Демидов был неуживчивый, беспокойный человек, сидячая жизнь убивала его, и скоро мы заметили, что он тоскует в лагере, как птица в клетке. К нам он попал из венгерского лагеря, откуда бежал, и в первое время ходил в рваной, стареньгкой гимнастерке и в огромных буцах, перевязанных веревочками. Мухин, глубоко восхищенный его искусством, отдал ему без колебаний свою суконную куртку, а подпрапорщик Козеев под расписку одолжил Демидову двадцать крон и подарил ботинки.

И вот как-то накануне большого концерта Демидов пропал. Больше мы о нем ничего не слыхали. Он убежал из лагеря и потом, будучи пойманным, вероятно, отказался назвать лагерь, откуда убежал, и его перевели в другой лагерь. Замечательно, что скупой Мухин не жалел о пропавшей куртке и не считал Демидова вором.

— Артистический человек, — говорил он, дергаясь елейным лицом, — я бы ему все отдал, только бы вернулся.

Козеев не поверил в артистичность демидовской натуры и, сжав квадратные скулы, пообещал при случае с мясом вырвать у него свои деньги.

Вслед за хором был организован и оркестр. Фанатиком этого дела оказался Хин — мрачный, черноглазый, с негритянскими волосами виолончелист киевской оперы. Виолончель ему достал Вегер, большой любитель музыки, и Хин, запершись в пустом бараке, целыми днями выводил свои сольфеджии. Играл он хорошо, хотя тон его игры был немного резок, как будто Хин испытал в жизни большое потрясение и не мог от него оправиться. Он упорно ходил к Вегеру и к начальнику лагеря, добиваясь у них инстру-

ментов, связался с пражскими музыкальными кругами и в конце концов достал две скрипки (третья была самодельная — ее сделал Швандин), тромбон, флейту и баритон. Оркестр составился такой: виолончель, три скрипки, две флейты, баритон, барабан и бас-балалайка. Бас-балалайка, сделанная тем же Швандиным, должна была заменять контрабас, достать который было невозможно. Позже оркестр пополнился пианино, взятым напрокат в Праге. Хин проводил репетиции с такой требовательностью, что скоро добился превосходных результатов. Он выхлопотал у Вегера, чтобы музыкантов освободили от работ, и заставлял их репетировать по два раза в день. Хин плохо говорил по-русски, и когда оркестранты ошибались, он неистово отбивал смычком такт и кричал:

— Смотрите в нотах! Смотрите же в нотах!

Хина слушались все оркестранты, кроме Когана. С Коганом он беспрерывно ссорился, но ничего не мог с ним поделать. Коган играл первую скрипку, и собственно на нем держался весь оркестр. Высокий, непомерно костлявый, с ногами, как оглобли, с синеватым лицом, скупо обтянутым кожей, с тусклыми алюминиевыми глазами, с отвисшей губой, он производил впечатление идиота, но играл удивительно хорошо. Обаяние его игры было так велико, что самые неразвитые из пленных, никогда не знавшие, что такое хорошая музыка, слушали его подолгу и в той напряженной тишине, которая лучше всего говорит о связи между артистом и слушателями. Коган представлял собою удивительное сочетание глупости и таланта. Он с трудом составлял самые простые фразы и, когда чего-нибудь не понимал, начинал хохотать, широко раззевая большую белозубую пасть. Играл он с удивленным видом, как будто сам не понимал, откуда у него берутся такие прекрасные звуки. Репетировать он не любил, но природная музыкальность и талант помогали ему. Техника у него была хорошая, и Хин считал его вполне законченным музыкантом, но очень ленивым и капризным.

Когану действительно ничего не стоило бросить во время

концерта игру в оркестре и уйти. Только ему одному Хин не кричал: «смотрите в нотах» — и, часто ругаясь с ним, тушил бессильную ярость в своих смоляных глазах.

Коган выступал солистом на наших концертах, и его часто звали играть в австрийские бараки. Ветер далеко разнес его славу, и послушать его приезжал концертмейстер пражской оперы. Коган играл ему на квартире у Вегера, и концертмейстер вызвался хлопотать о том, чтобы Когана перевели в Прагу, но к нашему удивлению Коган отказался.

В концертах кроме оркестра, трио и хора выступали и лучшие лагерные певцы — Айзенберг, Берко Эпштейн и Сергеев. Айзенберг попал к нам в лагерь при трагических для него обстоятельствах. Он учился в Лейпцигской консерватории, потом переехал в Прагу, где его застала война. Голос у него был редкой красоты, профессора решили спасти его от лагеря и спасали целый год. Потом дело раскрылось. Айзенберга арестовали и под конвоем препроводили в лагерь для военнопленных. Его поместили в лучшем нашем бараке, где жили писаря, но каким ужасным должен был показаться этот черный грязный барак с нарами и узенькими тюремными оконцами человеку, жившему на воле, в большом прекрасном городе!

Айзенберг приехал в хорошем сером костюме, в желтых ботинках, в мягкой черной шляпе, с коричневым фибровым чемоданом. Он с испугом и отчаяньем смотрел на бараки, на часовых, на колючую проволоку, окружавшую лагерь, и мы, уже привыкшие к этой гадости, грязи, к вонючим уборным и часовым, теперь по-новому, его глазами увидели все это и почувствовали, как его тоска, его смятение охватывают нас. Мы старались всеми силами облегчить его участь, и, погрустив несколько дней, он свыкся с нами и с лагерем. Серый костюм отправился в фибровый чемодан, и Айзенберг оделся в костюм из бурой материи, сшитый для него Левитом. И только дорогие желтые ботинки напоминали о маленьком человеческом счастье, разбитом походя.

Ведь Айзенберг был только маленькой пешкой, и судьба

его была еще относительно легка — сколько других, куда более суровых и жестоких крушений знали мы!

Товарищем Айзенберга по выступлениям в концертах был Берко Эпштейн. Совсем небольшого роста, хотя широкий и коренастый, он обладал огромным и красивым баритоном. Маленький рост был Беркиным несчастьем — из-за него он не мог попасть в оперу. Длинный Коган, друживший с Берко, подшучивал над ним следующим образом. Он притворялся, что хочет обнять Берко, но его руки смыкались над Беркиной головой, и Коган смотрел вниз и говорил:

— Ну, почему же ты сползаешь вниз? — и громко хохотал.

Берко любил петь куплеты тореадора, арии из опер и знал много романсов. В лагере он пользовался большим успехом.

Театр в нашем лагере зародился не сразу. Сначала спектакли носили партизанский характер и давались в жилых бараках, тут же на нарах, отгороженных шинелями и одеялами. Но эти спектакли, жалкие, безграмотные для постороннего человека с воли, мы смотрели с восторгом и с глубочайшим интересом. Трудно передать, сколько счастья давало нам это подобие искусства, первая возможность посмотреть нечто, что казалось нам благородными отзвуками иного, свободного мира. Мы сильно и чудесно переживали все, что происходило на сцене, и ни грубые буцы, торчавшие из-под юбок актеров, игравших женщин, ни сквернейший грим и почти полное отсутствие декораций не мешали нам. Во время спектакля все щели и проходы барака были забиты людьми. Пленные взгромождались в несколько ярусов, душили друг друга, держались, балансируя на одной ноге, и все же смотрели пьесу.

Через несколько месяцев австрийцы отвели для театра специальный барак и там построили сцену. Павчинский, наш художник, нарисовал занавес, изображавший Тверской бульвар

у памятника Пушкину, и несколько декораций, был куплен скромный реквизит, и у нас завелся таким образом настоящий театр. Сначала ставили веселые украинские комедии с гопаками и пением и суровые трагедии из времен Запорожья, изображавшие битвы казаков с турками, их плен и муки, и героическое бегство из плена — мотивы, глубоко тронувшие и волновавшие пленных. Вообще по свежести и непосредственности переживаний такой аудитории не имел вероятно ни один театр в мире. Люди впивали с невообразимой жадностью все представление, они, не отрываясь, смотрели на сцену и тяжело вздыхали, когда все кончалось.

Театр давал нам величайшую из иллюзий: он на несколько часов освобождал нас из плена, переносил в прекрасную, свободную жизнь. И бывало, выходя после представления, пленные с глубоким удивлением оглядывались на театр — обычный, черный барак, как бы пораженные тем, что он заключал в себе такие волшебные сокровища.

Скоро пришлось ввести плату за вход, иначе нельзя было окупить необходимых расходов, и вот пленные отказывались от табака, от хлеба, от самых необходимых для них вещей, но шли в театр. Среди них выискались талантливые актеры. Тяга к актерству была очень велика. В театральное правление приходили люди с застенчивыми сконфуженными лицами предлагать свои услуги. Они не искали выгод, так как актерам не платили, от работ их не освобождали, и в то время, когда другие пленные могли отдыхать, актеры должны были тратить время на длительные и трудные репетиции. Играть же зимой было настоящим героизмом. В театре по ходу действий актеры должны были быть в легких бутафорских костюмах и мерзли страшно. Но шли на все, и жажда играть была не меньше, чем жажда смотреть спектакли. И случалось, что перед спектаклем (а приходили за час до начала) почти каждый, приходящий в театр, приносил какую-то щепочку, дощечку или горсть еловых шишек, чтобы было чем протопить в актерской уборной.

Перед сценой была вырыта яма (ее называли в шутку

«могила») для оркестра, а за оркестром шли места — деревянные длинные скамейки без спинок, державшиеся на столбах, вкопанных в землю. Стены театра были украшены еловыми ветвями и лентами. Земляной пол был всегда чисто выметен, и пленные, неряшливые в своих бараках, в театре вели себя прекрасно — не сорили и не курили.

Театр уже ставил большие пьесы, в репертуар были включены «Лес», «Гроза», «Дни нашей жизни». Для исполнения женских ролей выбирались самые женственные из пленных, и двое из них настолько свыклись со своими новыми ролями, что незнакомый человек, видя их на сцене, никогда не узнал бы в них мужчин.

Наш барак был расположен в верхней части лагеря. В той его половине, что примыкала к опушке нагорного леса, через узенькие окна барака виднелись стволы сосен и белые пятна просек. Наша маленькая группа, державшаяся вместе еще в Липнике, под властью сурового обера, и теперь собралась вместе. По одну сторону от меня расположился Васька Шубин, веселый медицинский фельдшер, с балалайкой, пронесенной все беды и невзгоды фронта и плена, по другую — Турнер, один из лучших и милейших людей лагеря.

В Миловицах мы обживались не сразу, многое казалось нам тут плохим и унизительным, и нищета и грязь, царившие среди всей массы наших товарищей, действовали на нас тяжело и скверно. Дни проходили медленно и бесцельно, мы подолгу лежали на смятых своих тюфяках. Иногда нас гоняли на работу, и как ни трудна она была, все же это было лучше, чем оставаться в бараках, изнывая от тоски, голода и безделья. Гулять ходили в длинную аллею, в нижнюю часть лагеря, примыкавшую к дороге. Дорога вела к большой чешской деревне, белые и красные черепичные крыши которой виднелись за километр от лагеря. По дороге проходили и проезжали «вольные» люди — люди в штатском, и мы с удовольствием смотрели на них.

Тогда была весна, из леса тянуло на нас запахами смолы

и свежей травы, только что прилетевшие ласточки носились между бараками и лепили гнезда под их крышами, и воздух синими потоками плескался над нами. Весна усиливала нашу тоску и томление, она делала нас беспокойными, и мы бродили, как звери в загоне, и инстинктивно подходили ближе к проволоке, отделявшей нас от воли.

Вечером Васька Шубин долго играл на балалайке; он пытался развеселить нас, зубы его сверкали, и курносое лицо смеялось. Подошел и Штейнер, уже немолодой человек с седеющей бородкой. Лицо его было бледно и измучено, углы губ устало опущены. Все мы знали его историю. На войну его взяли за два месяца до срока, когда он должен был выйти в ополчение. Вместе с ним взяли и его брата, двадцатидвухлетнего юношу, которому он, старый холостяк, заменял отца. Они были в одном полку, в одной роте, и Штейнер все время мучился от страха, что брата могут убить на его глазах. Так почти и случилось. Брат был тяжело ранен. Штейнер остался возле него, и оба попали в плен. Там их разлучили. Штейнера отправили в наш лагерь, а его брата оставили в каком-то госпитале в Галиции. С тех пор прошло уже около полугода, и он, несмотря на непрерывные запросы, до сих пор ничего не знал о судьбе брата.

Теперь он стоял, опираясь на балку, и слушал Васькину игру. Слабая улыбка прошла по его лицу, когда Шубин, лихо перебрав струны, завертел балалайку между пальцами и, ударив ладонью о деку, прервал игру. Я предложил Штейнеру сыграть в шахматы, единственное развлечение, которое, кажется, было способно оторвать его от тяжелых мыслей. Мы сели за доску. Штейнер обычно начинал плохо, но в середине игры комбинировал очень удачно. Но нам не пришлось кончить партии. Сильный шум послышался у двери барака, и, пошатываясь, подвигаясь, как всегда, боком, вошел грек Юра. За ним поспевал вечный его спутник — австриец, чрезвычайно возбужденный. Он о чем-то просил Юру, но Юра, отталкивая его левой рукой, правой размахивал мешком с провизией.

Дело скоро разъяснилось. Юра купил гуся и масло для обер-лейтенанта Вегера, но, напившись, решил все съесть сам. Он влез за нары, предварительно зашвырнул туда мешок, сел на краю, свесив ноги, и слушал австрийца.

— Послухай, Пепичку,— сказал он тихим и вялым голосом, неожиданным при его пьяном буйстве,— скажи лейтенанту, что у Юры сегодня праздник и что Юра сам съест его гуску.

Он откинулся на свой тюфяк и диким голосом заорал:

— Маслины, почему нет маслин в этой проклятой стране? Тетя Хоня, дайте же маслин бедному греку...

Он икнул и потух. Услужливые руки уложили его, стянули с него сапоги. По лесенке на нары вскарабкался Михаил Исаич, старший кухарь, бывший княжеский повар, опытнейший в своем деле человек, к услугам которого всегда прибегали лагерные богачи, когда устраивали пирушки.

— Исаич,— нежно сказал Юра,— ты должен спасти меня от тоски и унизительности. Сжарь мне гуску, Исаич, и я съем ее, я — Юра, а не пан обер-лейтенант Вегер. Будет ему жрать Юриных гусей,— вдруг завопил он.— Откажусь... Кто тогда достанет? Кто? Кто? — И он, всхлипывая, упал на подушку.

Исаич унес гуся, и Юра, достав из заднего кармана брюк плоскую фляжку, стал пить. Запах рома разносился вокруг, и многие жадно вдыхали его. Юра никому не предлагал ром, он сопел и пил один, вскрикивал, говорил что-то сам с собой и опять затихал. Гуся ему принесли поздно вечером на сковородке, и он, схватив его за лапы и обжигаясь, стал есть без хлеба. Его место было рядом со Штейнером, и, бросив в сторону недоеденного гуся (чьи-то руки протянулись снизу и сцапали гуся), Юра наклонился к Штейнеру.

— Не спите,— пробормотал он, и я слышал, как тяжело он сопел,— все тоскуете по братике вашем милом? Найдется братик, не бойтесь...

Штейнер не отвечал, и Юра предложил ему рому. К моему

удивлению Штейнер, никогда не пивший, не отказался, слышно было, как стучал край фляжки о стакан.

— Вот,— сказал Юра, и голос его прозвучал тихо и печально,— вот, бывают у человека такие минуты, когда человеку хочется утопиться или зарезаться, и что тогда, ответьте, остается делать?

И, торжественно помолчав, сам себе ответил:

— Тогда пьют, бунтуют всем телом и горячей душой и рассказывают другому человеку о своей хворобе.

Он сделал паузу, видимо что-то вспоминая и тихо начал свой рассказ:

— Моя мать меня не любит и даже прокляла за самое ужасное, но все же полезное дело. Моя мать добрая женщина и много страдала от отца. Он лупил ее свежей рыбой по щекам и по голове — это была любимая радость у старого зверя.

Юра застонал, выпил и продолжал:

— Отец был рыбак, совсем засмоленный человек, одни кости и жилы, и когда он бил маму рыбой, мама молчала. Она молчала и падала. Он бил ее год и два, и десять лет, пока я не вырос и не сказал ему:

— Папа, не бейте маму свежей рыбой и вообще не трогайте ее.

Тогда этот старый грек, не тратя слов, ударил меня в дых и повалил. Я ему ничего не сказал тогда и ждал, что же будет дальше. И через три дня он опять бил маму свежей рыбой, и она молчала и падала. Я тогда пошел в погреб и стал рыть яму. У нас был глубокий погреб с ходом через дворик, и в погребе стояло вино. В углу всегда осыпалась земля, потому что потолок не был закреплен, и там я рыл яму. Вечером отец полез в погреб за вином, и я взял секачку и пошел за ним. Он спросил меня, зачем я туда пришел, он поднял свечку, посветил мне в лицо и даже сказал:

— Ой, Юра...

Но мне было противно говорить с ним, и я сразу посек

его. Голова у него была мягкая, как медуза, и он только подрыгался минуту и умер. Яму я вырыл глубокую, на три аршина, свалил его на дно, засыпал и затоптал землю сапогами, чтобы не было духа. Потом я ходил по вечерам и нюхал, не начал ли старик вонять. Год никто ничего не знал, а потом меня взяли в солдаты. Утром я должен был ехать в Севастополь, оставалась одна только ночь, и я тогда все рассказал маме. Она прокляла меня и сказала, что хорошо, что я ухожу в солдаты. Все же она спекла мне на дорогу коржики и пожарила курицу.

Рассказ прервался. Слышно было только сопение Юры. Скоро он захрапел. Штейнер ни разу не подавал голоса. Нельзя было понять, слушал ли он рассказ Юры или спал.

По утрам, несмотря на огромные размеры барака, душная вонь спирала воздух. Едкий запах человеческих испарений, грязных онучей, одежд (все спали не раздеваясь), махорки и ядовитого австрийского табака по восемь геллеров пачка не давал свободно вздохнуть. Вставали пленные угрюмо и неохотно. День сулил мало радостей, и сейчас же после чая старшие уже строили взводы и роты на работу.

Работа была разная. Те, кто не были заняты в мастерских или в канцеляриях, отправлялись на очистку лагеря и уборных, на починку дорог, на постройки и так далее. Производительность этих работ была очень невелика, люди работали вяло и неохотно, потому что не были ничем заинтересованы и отбывали лишь тяжелую повинность. Но стоило их хоть немного заинтересовать и назначить самую незначительную премию, как их нельзя было узнать, и они работали с энергией и охотой. Фунт хлеба или четырехкопеечная пачка табаку были для многих пленных целым богатством, так как, ничего не зарабатывая и не получая денег и посылок из дому (а таких у нас были тысячи), они медленно и мучительно умирали от истощения. Ежедневно длинные вереницы их шли в околоток на прием, и когда началась

эпидемия тифа, госпиталь переполнился до такой степени, что больных клали в проходах, спешно открывались новые бараки, и все же мест нехватало.

Самой скверной работой считалась очистка уборных. На нее никто не шел добровольно, приходилось назначать людей под страхом наказания и в порядке очереди. Потом уже образовалась артель уборщиков, получавших повышенный паек. В целях экономии или по небрежности выгребные ямы вычищались только тогда, когда наполнялись до самых краев, при чем способ очистки был самый варварский: черпалками на длинных ручках нечистоты сливались в бочку. Вонь при этом распространялась совершенно невыносимая, и на двести метров в окружности нельзя было пройти. Уборщики работали, повязав тряпками рты и носы. Потом товарищи гнали их из барака, потому что вонь проедала уборщиков насквозь, и нельзя было ничем ее уничтожить. В конце концов для них пришлось отвести отдельное помещение. В их артель шли самые парии—нищие и отчаявшиеся люди, прельщенные добавочным питанием, предоставленным им за их тяжелый труд. Их начальником сделался Михеев, единственный человек, добровольно пошедший на это дело. Мутнорозовые широкие угри проступали на коже его лица, как отмели на воде. На голове у него был колтун, волосы слиплись в один ком, но глаза были хорошие — серые, с живой, ласковой искрой, и под желтыми усами губы краснели, как ломтики спелого арбуза.

Михеев явился в канцелярию, сказал, что он работал по очистке выгребных ям и хочет заняться своей специальностью. Его конечно взяли с радостью, сочтя за дурака, идущего на поганую работу, с которой все бегут. Но он спокойно делал свое дело и скоро добился усовершенствования в нем: вместо черпалок он через австрийцев достал насосы и толстые брезентовые рукава, по которым нечистоты перекачивались в закрытые бочки. Сначала в лагере над ним издевались, но Михеев, не обижаясь, внимательно глядел на всех благожелательными глазами и улыбался. От него от-

стали и даже стали уважать. И не сходясь с ним, можно было увидеть, что в этом человеке есть какая-то уверенность в себе, равнодушие к чужим насмешкам и скрытая сила.

Из лагерей часто брали пленных на работу в окрестные деревни и в город. Пленные любили эту работу, потому что веселее было на людях, можно было побродить по дворам и кое-что выпросить или выменять у чехов. В обед гоняли обратно в лагерь за три-четыре километра, а после обеда опять шли на работу. К вечеру голод у людей обострялся и мучил особенно сильно, и они становились отчаяннее и предприимчивее. Набрасывались на каждого прохожего чеха или чешку, вымаливали кусочек хлеба или «брамборы» (картошку), тащили то, что плохо лежало, и когда часовые били их прикладами, бежали, как шакалы, трусливой рысью, в своем унижении не смея даже ругаться, а только угодливо посмеиваясь.

Вечером по баракам зажигались маленькие фонарики и керосиновые коптилки, пленные собирались группами, чинили белье и одежду, разговаривали о войне, о своих деревнях и делились тем, что узнали за день. В каждом лагере непременно создавалась легенда о солдате, будто бы спрятавшем знамя на груди и с ним попавшем в плен. Австрийцы якобы искали этого солдата, делали повальные обыски, но найти знамя им не удавалось. Иногда даже с таинственным видом указывали на такого хранителя знамени. Уборщики нечистот, может быть, стараясь восстановить свое попранное человеческое достоинство, утверждали, что знамя хранится у Михеева, и им верили. Говорили даже, что Михеев нарочно ушел в такое поганое дело, чтобы его поменьше тревожили австрийцы.

Потом хвастливый Юра-грек стал тихонько распространять слухи, что знамя спрятано у него, и говорили даже, будто Юра показывал знамя верным людям. Во всяком случае Козеев тайно ходил к нему и, подпоив его, пытался откупить знамя. Он рассчитывал вероятно отличиться, привезя знамя

в Россию. Потом выяснилось, что у Юры нет никакого знамени, а тайна Михеева осталась нераскрытой.

Любили еще говорить о скрытой у пленных полковой казне, о важных каких-то печатях и о многом другом. Однако со временем все эти разговоры выцвели и завяли, и редко кто-нибудь говорил о знаменах, о боях и подвигах. Говорили о пище, о том, как жилось дома в России, и гадали о сроках окончания войны. Как в ротах бывали любимые песенники, так и в бараках были свои рассказчики, откуда-то осведомлявшиеся о ходе дел. Пленные им верили и охотно их слушали. Эти рассказчики имели свои собственные, часто очень оригинальные суждения и свои сведения выдавали за самые достоверные.

Как-то утром в лагере почувствовалось что-то особое. Из Лисы и ближайших сел доносился тихий погребальный звон колоколов, австрийские врачи и офицеры явились в парадных мундирах и казались очень озабоченными и беспокойными. На вопросы пленных австрийцы не отвечали, и их тревога передалась и нам. Наконец мы узнали важную новость: скончался император Франц-Иосиф, восьмидесятишестилетний старик, современник Николая Палкина, человек, шестьдесят девять лет просидевший на троне и олицетворявший собой символ угнетения шестнадцати народов.

Чехи были очень сдержанны. Они не любили этого старика, неоднократно жестокой рукой душившего их стремления к автономии и независимости.

Смерть императора взбудоражила лагерь. Наши рассказчики решили, что теперь войне конец, так как на старике все держалось. Фомин, чернобородый пленный, старообрядец, один из самых влиятельных наших рассказчиков, собрал вокруг себя много народу. Его жадно слушали, тесно сгрудившись вокруг него и просовывая поближе к нему головы.

— С месяц потерпим,—сурово говорил Фомин, навертывая на пальцы кольца смоляных волос своей бороды, —

кончится теперь война... Старик был адамов человек. Общество есть такое — адамовы люди, альбо масоны. Взял с него Вильгельм страшную клятву воевать до самой смерти, и не мог старик от своей клятвы отречься. Сказывают, что ездил он к нему незадолго до смерти. Освободи, просил, от адамовой клятвы, погибает совсем у меня народ, а тот как крикнет — клялся, говорит, и держись. Так без всего старик и отъехал...

Чей-то неуверенный голос выразил догадку, что, может быть, старик умер не просто, может быть, он своей смертью хотел освободить народ от войны, и Фомин, как будто что-то скрывая, неохотно ответил:

— Про то, может, и знают, да не сказывают.

Смерть императора конечно ничего не изменила. Бесхарактерный его племянник Карл, по своей молодости и неопытности, был еще больше подчинен Германии, чем его дядя. Старая династия Габсбургов, династия хищников и дегенератов, перед своим падением вручила власть одному из самых ничтожных своих представителей. И ему было суждено видеть бесславный конец двуединой монархии.

Угнетение — плохой цемент для спайки народов и стран, и скрепы огромной империи разошлись просто и легко. А пока на марках и бумажных деньгах вместо обрюзгшего и сонного лица Франца-Иосифа, окаймленного бакенбардами, появился гусарский профиль Карла, и огромная машина истории продолжала допечатывать последние оттиски прекращающегося издания—последние дни издыхающей австро-венгерской монархии.

Наша группа сильно поредела — уехал в Штирию на два месяца Турнер, угнетенный лагерем, а вслед за ним оставил свое место и Васька Шубин. Он давно уже работал в лагерном околотке, помогал врачу на приеме — давал там мази и порошки, делал перевязки больным, а теперь упросил старшего врача перевести его жить в госпиталь. Там ему должно

было быть лучше. В небольшой комнате при госпитальном бараке помещались всего четыре человека, и у каждого из них была отдельная койка. Собирался уходить к писарям и Штейнер, невыразимо тосковавший по своем брате и все ждавший вести о нем. Нервность его и беспокойство принимали угрожающие размеры. Он часто переставал владеть собой, как бы забывал себя, и тогда с ним делались странные вещи. Тело уходило из его власти, руки болтались или висели бесцельно и безжизненно, глаза проваливались и тускнели, и бессильно отваливалась челюсть.

Он был милый и мягкий человек, в лагере его любили и относились к нему чутко и сочувственно. Он доживал у нас в бараке последний день — завтра он должен был перейти к писарям, он уже приготовил свои вещи и после обеда лег отдохнуть. В бараке было тихо, там было мало народу, и почти все спали, когда я услышал осторожные шаги. Внизу у наших нар стоял черный Леня — писарь из лагерной канцелярии, бухгалтер по профессии, земляк и товарищ Штейнера — и заглядывал к нам. Он взялся руками за лесенку, чтобы подняться наверх, но раздумал, растерянно посмотрел на меня и кивнул головой, показывая на Штейнера. Штейнер быстро сел, хотя, казалось, он спал. Он взял Леню за плечи и, не давая ему влезть на нары, смотрел на него, и лицо его дергалось, и губы прыгали. И Леня, потянувшись к нему, поцеловал его в губы и достал из грудного кармана белый казенный конверт с красным крестом. У Штейнера вдруг окрепли движения, он спокойно взял пакет, достал бумагу из конверта и стал читать. Прочел, провел рукой по волосам и посмотрел на нас. Лицо его принимало успокоенное выражение, какое-то облегчение читалось в нем. Он лег и так пролежал до самой ночи. Мы боялись за него, ночью я встал и наклонился к нему. Он протянул руку и погладил мое плечо.

— Ничего,—сказал он,—ничего... Даже легче, скажу вам, даже легче. — И вдруг заплакал лающим и придушенным мужским плачем и, плача, говорил:

— Мальчик, знаете, как сын... дорогой, любимый... Я на семнадцать лет старше. Он в три года болел дифтеритом. Мучился, а я возмущался, почему маленькому такие страдания, почему я не могу взять на себя его болезнь. И вот его на моих глазах убивают. Он падает, я его несу... Понимаете, осколок шрапнели, весь живот разворочен... И он боится стонать, чтобы не огорчить меня. Потом его увезли. И вот — умер... пять месяцев, как умер... И конец, хорошо, что конец...

Он затих, но тело его дрожало мелкой дрожью, руки ходили, как шатуны, и так всю ночь. Васька Шубин принес ему из околотка большую дозу опия, но опий не взял Штейнера. Только утром он затих и пролежал весь день.

А еще через день он стал работать.

В лагере разбили маленькие скверики и клумбы. Копать землю и сажать цветы—мы все это делали под руководством Власова, опытного садовода — было для нас большой радостью. Мы будто сеяли новую жизнь, с наслаждением разворачивали каштановую жирную землю и осторожно укладывали в нее крошечные семена. Было трудно дождаться, пока взойдут первые ростки, и Власов посмеивался над нами и успокаивал нас. Наконец выросла трава, а затем распустились цветы. Тут были розовые, белые и темнокрасные гвоздики, хвостатые пахучие настурции, оранжевые, как апельсины, табак — белый и одуряюще пахнувший к вечеру, желтые и синие астры и розы, маленькие бутончики которых долго не могли распуститься. Нам казалось, что весь наш лагерь преобразился оттого, что в нем появились цветы. Все свободное время мы отдавали им. Их вид радовал нас, и их запах (или нам так казалось?) очистил и облагородил воздух лагеря. Мы не осмеливались их рвать, они были для нас высшим проявлением другой жизни, и однажды, когда Власов сорвал целый букет, поставил его в котелок с водой и, искусно задрапировав котелок зеленью, пронес в барак.

мы были глубоко потрясены. Казалось, что наши грязные тюфяки и почерневшие нары стали выглядеть по-новому. Цветами мы украсили и наш театр, и библиотеку, и клуб, и сейчас, вспоминая те дни, я чувствую все еще странное и прекрасное волнение, сладкий холодок, представляя себе лагерные цветы—кучки чудесных созданий, выросших среди черных бараков, среди колючей проволоки, среди отверженных людей, какими мы были.

Лагерная библиотека началась с малого. Турнер, имевший несколько книг, стал давать их читать по баракам, а потом устроил полочку, выпросил книги у товарищей и завел запись читающих. Когда в лагере организовался клуб, в клубе поставили книжный шкаф, и библиотека стала быстро расти. Спрос на книги был очень большой, пленные обратились к шведским благотворителям за помощью, и те действительно прислали кучу книг, где вместе с классиками были и сочинения Марлинского и Загоскина и между ними пушкинский «Современник» за 1835-й, кажется, год.

Читали в лагере много и все, что попадалось. И часто случалось, что, плохо разбираясь в прочитанном, солдаты приходили за объяснениями в библиотеку, рассаживались на длинных скамьях и ждали ответов на свои вопросы. С ними вели беседы наиболее культурные и образованные из пленных, и скоро эти беседы перешли в регулярные лекции и уроки. Так постепенно создалась лагерная школа.

Широкая масса пленных, потрясенная всем виденным на войне и в плену, познакомившаяся с жизнью и обычаями чужой страны, перенесшая все притеснения царского строя, усомнилась во многом, во что она непоколебимо верила прежде. Потребность в новых знаниях проявлялась стихийно, и немолодые уже, бородатые люди приходили расспрашивать о вещах и порядках, неведомых им доселе. Замечательно было, что все вопросы начинались с войны. Пленные допытывались о ее причинах (прежде эти причины казались

им ясными: немцы напали на Россию, и царь позвал на защиту родины) и происхождении, потом переходили на вопросы о земле и в конце концов просили научить их грамоте.

Школа у нас образовалась совершенно своеобразная и пестрая: одни и те же люди учились азбуке и слушали лекции по истории, географии (любимые предметы пленных), естествознанию, садоводству и арифметике.

Работать в нашей школе было не легко, но зато в высшей степени интересно. В большинстве ученики ничего не слышали о пяти частях света, об океанах, о том, что земля кругла и вертится вокруг солнца, и глобус вызывал у них глубочайшее удивление. Они не имели понятия об истории своей родной страны, или имели о ней превратное, лубочное представление. Иногда, пораженные тем, что они узнали, и не веря этому, они пытались вступить в спор, отстаивая свою наивную веру, но охотно давали себя переубедить, косность их разрушалась легко. Оторванные от родины и обычного уклада жизни, они становились любознательны и восприимчивы. Все это главным образом относилось к крестьянам, так как многие из рабочих по своему политическому развитию были значительно выше интеллигентов и лучше их разбирались в созданной войной обстановке.

В то время, в конце 1916-го года, патриотизм и желание победы своим почти совсем выветрились из сознания главной массы пленных. Масса была заинтересована только в близком окончании войны, и старые сказки о том, что между крестьянами будут делить немецкую землю, теперь не имели никакого успеха. Русские крестьяне узнали немецких, чешских и венгерских крестьян, они хорошо ознакомились с их бытом и нуждами, и никакой вражды не было у них к этим подневольным людям, жизнь которых так сильно напоминала им собственную жизнь. Уже тогда смутное сознание великих несправедливостей, учиненных над ними, и чудовищного обмана, при помощи которого их вовлекли в эту войну, начинало проявляться в них, и чем больше становились их страдания, тем лучше понимали они, что даже победоносная

война ничего не может им дать. Среди них были способные и жадные к новым знаниям люди, которые занимались и работали с ненасытной энергией.

Помню Еремина, маленького и невидного калужского крестьянина, вначале совсем неграмотного. Еремин был самым аккуратным посетителем лекций и бесед, которые он никогда не пропускал. Конфузясь и робея, он расспрашивал о многом, пока ему не предложили самому научиться читать книги. Он взялся за грамоту, но она не давалась ему. Он занимался вечерами (днем его гоняли на работу), и я видел, как он подолгу мучился над заучиванием букв. Я предложил ему другой способ обучения — читать вместе, и в несколько недель он научился хорошо читать. Радость его, когда он овладел тайнами грамоты, была буйная и неистовая, как у человека, открывшего новые, волшебные миры. Он читал все ночи, брал с собой книгу на работу и, кажется, никогда не расставался с нею. Ему особенно полюбилась физика, и, несмотря на свою безграмотность и плохое развитие, он обнаружил к ней удивительные способности. За несколько месяцев он стал другим человеком.

— Ах ты, тьма наша, — в отчаянии говорил он, хватаясь за голову.—И подумать только, что все это от нас прятали... Когда же мы это все наверстаем?

Ему понравился в элементарном учебнике физики закон об одинаковом уровне жидкости в двух сообщающихся между собою сосудах, и он строил на нем свои оригинальные теории. Он говорил, что в деревню надо послать жить знающих и обученных людей, приобщить крестьян ко всем знаниям и наукам, и тогда они, в силу закона об одинаковом уровне жидкости в сообщающихся сосудах, должны будут в короткий срок набраться от этих людей новых знаний. Еремин высчитывал, сколько крестьянского населения в России и сколько школ и деревенских университетов надо открыть в ближайшие годы, чтобы обучить всех крестьян. Мне никогда не приходилось встречать такую цельную и самобытную натуру, с такой энергией и целеустремленностью,

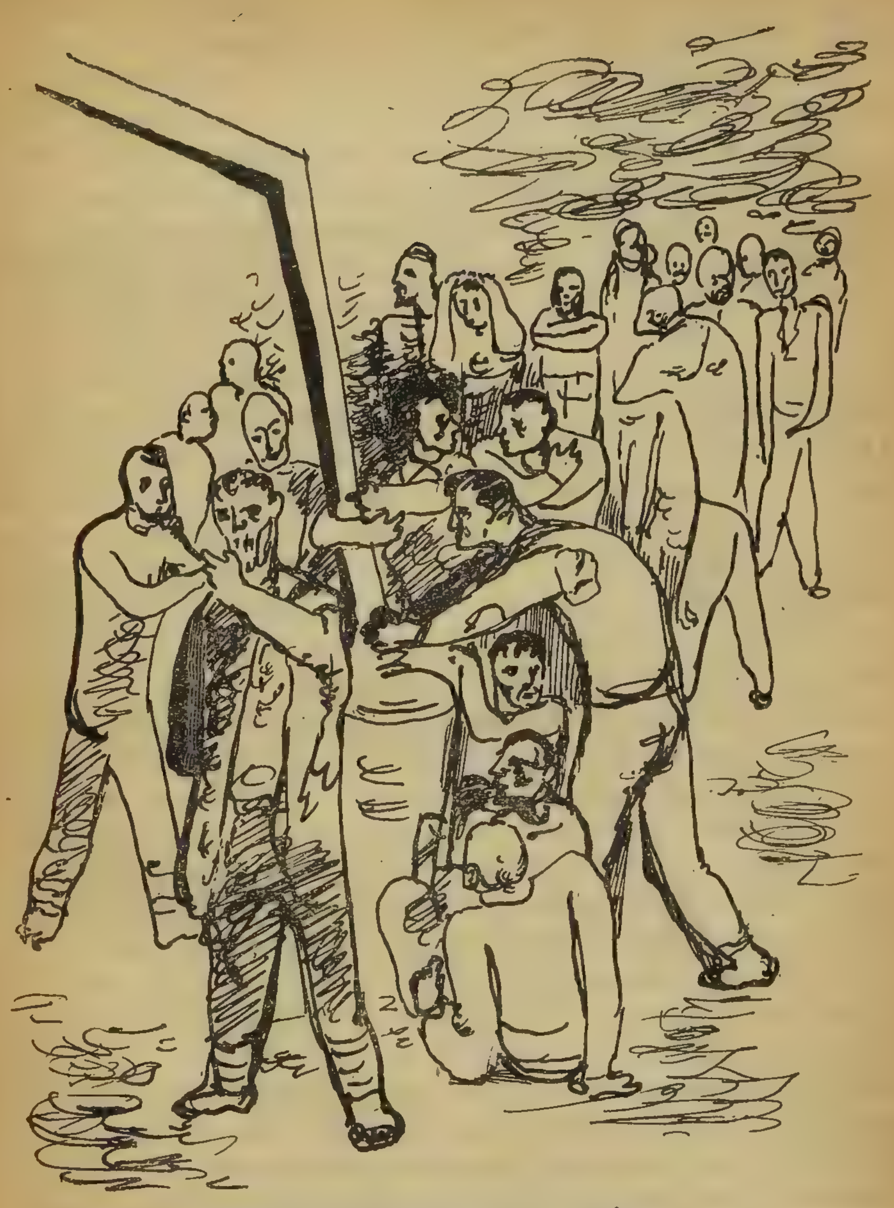
как Еремин. После революции он сделался одним из лагерных вожаков, агитируя за мир, за землю, за всеобщее обучение крестьян.

Вечерами клуб всегда бывал забит людьми. Русских газет, то есть газет из России, у нас не было; пленные, хотя немного владевшие немецким языком, выписывали немецкие буржуазные газеты: «Prager Tageblatt», «Reichenberger Zeitung» и «Неue Freie Presse». Выписывать социал-демократическую «Arbeiter Zeitung» (рабочую газету) нам не позволялось, хотя она проводила уже тогда шовинистическую политику.

Обычно телеграммы, сообщающие о военных действиях, читались вслух. Переводил их кто-нибудь из пленных, знающий немецкий язык, и чтение слушали с напряженным вниманием, а потом обсуждали события и перспективы войны. О своих генералах и офицерах солдаты говорили с недоверием, враждебностью и едкой иронией.

Они не верили, что Россия может выиграть войну, так как собственными глазами видели расхлябанность и бездарность командования, видели, как разворовывался тыл, как пьянствовали и укрывались с позиций старшие офицеры и зря гибились целые дивизии и даже армии. Они помнили время, когда нехватало винтовок, пулеметов, орудий и патронов и пополнения приходили в окопы совершенно безоружные и необученные — настоящее пушечное мясо. Весь позор, всю дряблость и ничтожность царского строя, его непригодность к большим делам, продажность его представителей они научились понимать на фронте, в окопах, платя за науку собственной жизнью.

Особенно людно бывало в клубе зимой. Холод сгонял сюда людей из нетопленных бараков, и они сидели тут до позднего вечера. Зима надвигалась на лагерь, как беспощадный враг, и ее наступление всегда означало для пленных новые беды и мучения. Бараки были построены плохо, и ветер и снег пробивались сквозь щели досок. На целый барак отпускалось несколько килограммов угля или дров, его хватало едва на час, и остальное время люди мучительно мерзли.



Холод доводил пленных до отчаяния....

Они приходили с работы усталые и голодные, а в бараке нельзя было даже снять шинели и полежать расправившись. Приходилось сидеть скорчившись, с окоченелыми пальцами, и ночью ощущение холода доводило до тошноты, до отчаяния.

Помню, как тяжело прошла первая зима. Мы ложились по нескольку человек вместе, при чем лучшие места считались посредине, так как с обеих сторон грели тела соседей. И по утрам нельзя было вылезти из-под шинели. Все члены сводило, и казалось, будто тело было обложено холодным железом.

Зимою заболевало больше половины всех пленных. Слабые, истощенные организмы не обнаруживали никакой стойкости в борьбе с болезнями. Самые пустяковые нарывы и раны не заживали целыми месяцами, легкие простуды превращались в длительные болезни. Особенно легко отмораживались ноги, обутые в рваные буцы и плохое тряпье. И по утрам старшие, вызывая людей на работу, обходили нары и смотрели на кучи бурого и серого тряпья, под которым, сжавшись и поближе пригоняя каждый кусочек тела к другому — колени к животу, руки между колен, голову к плечам и груди — лежали пленные. И если человек не вставал и не выходил на работу, старшие знали, что у него синие, опухшие ноги, что кожа, как при водянке, лоснится, и если нажать на ногу, то на месте нажима долго остается ямка. Иногда обмороженные конечности загнивали, гангрена пожирала их, и они вздувались, чернели, мясо сваливалось с костей и обнажало их... Зимою в госпитале почти каждый день умирали люди, и на кладбище росли ряды безымянных занумерованных крестов.

Лагерное кладбище вначале было совсем маленьким. Австрийцы отвели под него клочок поля у самой дороги в лесу и огородили его колючей проволокой, точно пленные и после смерти должны были быть изолированы от полей, от всего мира. В первый год кладбище заполнялось медленно, но когда начался тиф и в лагерь пригнали полузамерзших

итальянцев, к кладбищу пришлось прирезать большой кусок земли, а затем еще один и еще...

Я обходил это грустное место в конце семнадцатого года, перед своим отъездом в Россию. Ряды белых крестов тянулись ровными, тихими шеренгами, и только кое-где их страшное однообразие прерывалось каменными надгробиями.

...На краю кладбища лежит Савельев — наш первый мертвец. Вместе с ним похоронили его ампутированную ногу — он умер после неудачной операции. Помню, каким грозным страхом повеяла на нас его смерть. Мы тогда еще не знали всех ужасов плена, мы надеялись, что, спокойно переждав здесь войну, вернемся на родину, и Савельев своей смертью первый напомнил нам, что многие из нас не вернутся домой. Его хоронили торжественно, сотни людей и оркестр провожали его в могилу, а потом мы привыкли к смерти наших товарищей, как привыкли к этому раньше на фронте, и многих проводили на кладбище. Оно росло на наших глазах, оно медленно, но неумолимо съедало наш лагерь и опустошало бараки, оно вытаскивало нас из наших жалких нор и то поодиночке, то целыми отрядами укладывало в узенькие земляные ящики.

Между лагерем и кладбищем шла неуемная борьба. И бывали дни, когда нам казалось, что кладбище победит. Это было во время эпидемии тифа, когда болезнь валила нас, как ураганный огонь на фронте, когда ежедневно на рассвете, чтобы не тревожить окрестного населения, из лагеря выезжали телеги, в два яруса уставленные гробами. Гробы заливали известью и закапывали, а в полдень на кладбище приезжал из Миловиц чешский ксендз, брюхатенький человек с красными куриными глазками, неловко приклеенным к лицу длинным носом, и с какой-то особой добросовестностью прочитывал по-латыни над каждой могилой «Pater noster»[1] и другие молитвы. За ним ходил чех Кашек, заведующий кладбищем, с длинной бумажкой и называл ему фамилии погребенных.

[1] „Отче наш".

Две трети кладбища были заняты могилами наших товарищей, погибших от тифа. Их было очень много, этих могил, и они напоминали нам о самых страшных днях Миловицкого лагеря. Тогда вереницы людей с землистыми лицами ежедневно уводили из бараков в госпиталь. Уходя, они заботливо забирали свои узелки, все свое убогое барахло, а после их смерти санитары продавали это барахло в лагере.

...Печально наше кладбище, и не украшает его даже и большой памятник, построенный на деньги, собранные пленными. Памятник открывали торжественно: сам генерал со всеми офицерами присутствовал при его освящении, пел хор, и даже произносились утешительные речи—но разве все это могло что-нибудь изменить? Разве не знали мы, что нам незачем было проходить через шрапнели, газы и колючую проволоку, чтобы попасть сюда, в лагерь военнопленных и затем на это кладбище? Разве хоть какое-нибудь утешение было для наших товарищей, умиравших здесь за чужое, враждебное им дело?

Ужасна такая смерть, и невеселые мысли вызывало наше кладбище.

Я обходил его могилы, я останавливался над белыми солдатскими крестами и, читая двухзначные и трехзначные номера, я узнавал по ним и вспоминал живых людей, от которых ничего не осталось. Только сухие записи в лагерной канцелярии отмечали смерть военнопленных, но никто не прочтет их и не узнает, итоги скольких загубленных жизней заключали они.

И сейчас еще вероятно стоит это кладбище, окруженное колосящимися полями, на вечном параде вытянулись батальоны крестов, и командует парадом большой памятник посреди кладбища.

3. ИТАЛЬЯНЦЫ

Зимой в наш лагерь пригнали итальянцев. Их было больше тысячи человек, и все они были взяты в плен под Изонцо, в суровой горной местности, где окопами служили выбоины

скал и узенькие ложбинки, размытые весенними потоками. Итальянцы прибыли к нам в ужасном состоянии: раздетые, без шинелей, в рваной обуви.

По какому-то звериному равнодушию к людям и людским страданиям их везли на открытых платформах, на которых перевозят артиллерию и обозы. Шинели с них сняли еще на фронте, так как эти шинели были того же защитного цвета, что австрийские, и пошли австрийским солдатам.

Итальянцы пришли по широкой мощеной дороге из Лисы, маленького городка с железнодорожной станцией. Они шли густой толпой, сгорбившись, с перекошенными синими лицами, поддерживая друг друга, совершенно закоченевшие, и многие из них были похожи на сумасшедших: безумные невидящие глаза, оскаленные зубы и дикие, застывшие гримасы на искривленных губах.

Нам, русским пленным, жилось скверно. Мы ютились в бараках, построенных в одну доску, снег надувало в щели, и было холодно, как в погребе. Нас кормили вместо супа грязной горячей водой, в которой плавали лоскутья гнилых овощей, и вместо чая — настоем крапивы без сахара. Итальянцы прошли по всему лагерю к новым баракам, отстроенным совсем недавно и в которых еще никто не жил. Они бросились туда, ожидая найти там хоть немного тепла, но бараки были выморожены, и игольчатое серебро инея осело на новых, еще не потемневших досках нар и на столбах, поддерживавших барак. Итальянцам не дали ни одеял, ни тюфяков, и так они провели свою первую ночь в лагере. На следующее утро около пятидесяти человек не встали. Они остались лежать на нарах, скрюченные, с коленями, поднятыми к подбородку, с руками, засунутыми между ног. Даже смерть не могла распрямить их, и они так и закоченели, ища тепла в порах собственного тела. Их свалили в мертвецкую — низенький, крытый толем барак, — положили их там штабелями, как дрова, и вывезли ночью на телегах, без гробов, покрыв лишь брезентом, на кладбище. Трупы свалили в общую могилу, и там они сгрудились, сидя и стоя, как мороженая

треска, так как нельзя было никакими силами выпрямить согнутые тела. Ночью же засыпали могилу, и утром приехал отпевать мертвецов чешский ксендз — их единоверец. Он прошел к большой насыпи в своей черной длинной юбке, в кружевной накидке, в черной круглой шапочке с помпоном, с молитвенником в руках. Золотой крест висел на его груди. Красное толстое лицо с крошечными глазами, с длинным плоским носом и короткая, бочкой, фигура придавали ему странное сходство с пингвином. Стеклянным голосом он пробормотал «Pater noster» и еще какую-то молитву и помахал над насыпью кропилом, которое ему подал прислужник. Он уже собрался уходить, когда к нему подошел лейтенант Шницлер, помощник коменданта нашего лагеря, и что-то сказал ему. Они сели в бричку и поехали в лагерь к итальянским баракам.

Бараки все еще были нетоплены, итальянцы лежали и сидели на нарах, тесно сбившись, завернувшись в одеяла и закрыв ноги тоненькими тюфяками, выданными им утром. Лейтенант скомандовал им встать на молитву. Они подымались с трудом, раскачиваясь на отмороженных ногах, и с удивлением смотрели на ксендза и на причетника. Лейтенант через переводчика объявил им, что их собственная католическая церковь освятит их новые жилища, и равнодушно отошел. Ксендз опять забормотал и утиным шагом пошел по бараку, осеняя нары крестом и брызгая на них водой. Посредине барака он остановился и медленно прочел молитву, призывая благословение божие на дом сей. Итальянцы молча следили за ним. Некоторые из них машинально крестились при знакомых звуках латинских молитв. Другие стояли с тупыми, застывшими лицами. Холод сделал их полумертвыми и равнодушными ко всему. Третьи лежали.

К ксендзу подошел один из пленных. Это был невысокий, костистый человек, сутулый, с длинными руками. Солдатская одежда не могла обезличить его. По виду он был типичным крестьянином, и желваки проступали под кожей его лица, как мозоли. Униженно кланяясь, он рассказал ксендзу

про мученья, которые он и его товарищи терпят в этих холодных бараках, и попросил походатайствовать, чтобы в бараках протопили и вернули бы пленным отнятые у них шинели.

Ксендз спокойно выслушал его, покачал головой в знак того, что не понимает, и, показав крестом на потолок барака, благословил крестьянина. Лейтенант повел ксендза к выходу, расхваливая устройство бараков и их чистоту.

Печи в итальянских бараках стали топить только на третий день. Топили мало, и огромные, насквозь промерзшие бараки не нагревались. Вокруг печей сгрудились пленные. Передние почти касались горячих железных стенок. Задние напирали на передних, протягивали руки, садились боком, задом, использовывали каждый дюйм свободного пространства, чтобы согреться. Скудный запас дров иссяк задолго до наступления ночи. На дворе же был мороз, необычный в Чехии.

Пандини, тот самый крестьянин, который говорил с ксендзом, вышел из барака. Мучительный холод ломил все его тело. Он в отчаяньи посмотрел на небо, опрокинутое над ним синим чаном с блестящими гвоздиками звезд, и пошел в ночь. Он был в полубреду, ему казалось, что он сидит дома у большой печи и охапками бросает в нее сухие, смолистые сучья. Он наткнулся на забор из колючей проволоки и, шатаясь, побежал вдоль него. Бег не согрел его. Ноги были чужие, не сгибавшиеся в коленях, в руках была ноющая железная боль, пальцы растопырились, и нельзя было сблизить их. Пандини добежал до места, где заборы сходились углом. По другую сторону проволоки был госпиталь — туда он ходил накануне на прием к врачу. Черная стена небольшого барака выходила к забору, и проволока в этом месте была отогнута. Пандини перелез на другую сторону и обошел барак. Дверь была только прикрыта, и он вошел. Он наткнулся на низенькие нары

3 За колючей проволокой 7148

и упал на них. Его руки нащупали что-то похожее на длинный ящик, и он сдвинул его с места. Его охватила радость,— он подумал, что ящик можно унести в барак и сжечь его в печи. Он нашарил крышку и, так как пальцы не слушались его, столкнул ее плечом. В ящике был какой-то груз, что-то твердое и холодное, и Пандини, прощупав очертания лица и рук, понял, что перед ним мертвец в гробу. Страх охватил его, он хотел бежать, но бежать можно было только в свой барак, в холод, к умирающим от стужи товарищам.

— И мы так же ляжем, как ты, товарищ,— подумал он.

Страх его прошел. Плечом и руками он опрокинул гроб и вывалил труп на нары. Ему казалось, что мертвец охотно ушел из гроба — на что ему он, если дерево может пригодиться живым, таким же несчастным, каким и этот бедняга был при жизни, и Пандини хотел даже прочитать над ним «отче наш», но вдруг отвращение к молитве охватило его.

— Ладно, эти вещи хороши для попов,— сказал он и, взяв гроб подмышку, вышел из мертвецкой.

Он пробрался в свой барак, и никто не удивился страшному топливу. Гроб дал много тепла. Темный румянец проступил сквозь железные щеки печи, и итальянцы ожили. На следующий день все гробы исчезли из мертвецкой. Австрийцам не удалось выяснить виновников этого дела. На мертвецкую повесили тяжелый замок, железными болтами прикрепленный к двери.

Русские начали быстро сближаться с итальянцами. Брали их на ночевку в свои бараки, кормили их, хотя и сами пропадали от голода, и скоро тесная дружба возникла между обоими лагерями. Пленные выспрашивали друг друга о прежней жизни — объяснялись знаками или через немногих переводчиков. Положение их было до жути схожее. Никаких иллюзий не осталось у них о действительных причинах бойни. И русские и итальянцы с одинаковой нена-

вистью говорили о войне и о тех, кто послал их на фронт. Тогда кончался 1916 год — третий год войны, и люди, прошедшие через окопы, колючую проволоку, шрапнели, пули, облака ядовитых газов и побывавшие в бараках лагеря военнопленных, эти люди не могли уже серьезно верить в бутафорские истории, созданные патриотическими газетами. И то, что казалось им серьезным в девятьсот четырнадцатом году, давно уже умерло для них в шестнадцатом.

В бараках возле печей по вечерам велись длинные беседы. Русские и итальянцы сидели вместе.

Они научились немного понимать друг друга, а остальное переводил Турнер, русский вольноопределяющийся, до войны живший в Милане. Говорили о своей жизни, вспоминали о том, как началась война и как многие верили в то, что война действительно нужная и справедливая и вызвана нападением противной стороны.

Павел Туманов, донецкий шахтер, рассказывал о том, как его взяли на войну.

— Итти не хотелось никому,— говорил он, кутаясь в свою рваную шинель и осторожно трогая рукой острое колено Пандини, как будто тот все понимал.— Нас однако не спрашивали. Взяли в казарму, обрядили, два раза погоняли на учение и назначили к отправке. Полк должен был выступить в двенадцать часов дня, а в десять служили полевой молебен. Вывели нас на луг, а посредине расположились попы. Было нас три тысячи человек — все здоровые и молодые. Я поглядел на них на всех, и сердце у меня сжалось. И так ясно представил себе, что вот везут нас в теплушках, потом высаживают и ведут в бой, и бьют и бьют нас без жалости. Вот стоим мы на ногах, живые, а впереди убой, поганая смерть, и к чему все это? За кого мы умирать идем? А попы кадят и поют, и кропят, и благословляют, бога зовут и родительницу его, и папашу, и ангелов, и святых. Стало мне противно и горько, разъела меня злость, а тут пошли они опять по фронту и опять кропят и крест тычут. Прошел мимо меня поп, маленький и жирный, а за ним дья-

кон, длинный, в черной бороде, машет кадилом и поет. Не сдержался я и шепчу ему:

— Что же человечину заживо отпевать, вы бы сами с нами, отец, пожаловали, вам, золоченым, небось, не по вкусу...

А дьякон, походя, махнул на меня кадилом и говорит басом:

— Молчи, сволочь, делай, что велят,— навоз ты, а кому навоз жалко?

— Спроси его,— помолчав и закуривая, сказал Туманов Турнеру,— и у них, верно, так же? Без попов никуда, или иначе?

Турнер перевел вопрос, и Пандини, скупо усмехнувшись, ответил, что так, видно, водится во всем свете и что там, где смерть, там и попы. У них в Италии говорят, что поп и ворон одной породы.

Разговаривая с итальянцами и глядя на них, жалких, больных и обмороженных, я вспоминал лицемерные слова манифеста Франца-Иосифа, данного по случаю вступления Италии в войну. «König von Italien hat mir den Krieg erklärt» [1]— так начинался этот манифест. И я думал о том, что ни король, ни старый император не объявляли друг другу войны, что оба они оставались у себя дома, обедали, принимали ванны и ездили охотиться, а воевать пришлось всем этим несчастным людям.

Лето семнадцатого года было особенно ужасно для итальянцев. Тиф вспыхнул в их бараках, как пожар, и они погибли почти все. Трупов было так много, что хоронить их обычным порядком нечего было думать. Ночью к мертвецкой подавались широкие полки, и умерших складывали туда, как дрова, высокой грудой. Их обвязывали веревками, покрывали брезентом и так везли. Страшный транспорт вы-

[1] **Итальянский король объявил мне войну.**

езжал из ворот и медленно направлялся к кладбищу. Безжизненные руки свешивались с полков, окостеневшие пальцы били по колесам, и желтые босые ноги торчали прямо и страшно, не сгибаясь в коленях.

Как-то вечером Любучек, наш госпитальный австриец, прибежал к нам и, плача и воя, бросился на постель и закрыл голову подушкой. Его лицо было искажено пьянством и безумием, и мы с трудом узнали от него, в чем дело. Он возвращался из Миловиц в лагерь и на повороте, там, где дорога сворачивала вправо к кладбищу, встретил транспорт мертвых итальянцев. Одна из телег опрокинулась, и скрюченные голые тела мертвецов (итальянцев хоронили голыми) посыпались на землю. При тусклом мелькании фонарей это зрелище должно было быть ужасным, и Любучек, обезумев, убежал.

...Голые тела сваливались в общую яму, заливались известью и засыпались землей. Итальянская часть кладбища военнопленных была больше русской и тянулась вверх от дороги до самой опушки леса...

А старый император писал в своем манифесте:

«König von Italien hat mir den Krieg erklärt».

Пандини погиб через несколько дней. Он попался ночью в то время, когда ломал доски с уборной на топливо. Немолодой уже, суровый по виду и, казалось, необщительный, он глубоко страдал не столько за себя, сколько за своих товарищей. Рядом с ним на нарах помещались трое его земляков, совсем молодые парни, и они погибали на его глазах, как впрочем гибли и десятки других.

Госпиталь был забит больными, и австрийцы клали туда только в самых крайних случаях, когда человек никуда уже не годился. Непривыкшие к морозам, итальянцы невыносимо страдали. Ноги и руки у них распухали и принимали страшный сине-багровый оттенок. Франческо, сосед Пандини, двадцатилетний юноша, страдал больше других. Левая нога его совсем онемела и внизу у ступни вздулась так, что кожа грозила лопнуть. Ему грозила гангрена — частая

гостья у пленных с отмороженными конечностями. У него не осталось никакого мужества. Он лежал, закутанный в тряпье и в солому, покрытый тюфяками товарищей, и тихо стонал. И вот, чтобы хоть немного согреть его, Пандини пошел воровать топливо. Он не нашел ничего другого, кроме досок, прикрывавших выгребную яму. Доски пропитались испражнениями, они даже на морозе издавали густой, терпкий запах трупа, но рассуждать было нечего, и Пандини потащил их в барак. Его заметил часовой, закричал ему, но крестьянин не хотел расстаться со своей добычей и побежал. Свинцовая пуля из старинной винтовки (такими винтовками были вооружены часовые) попала ему в ногу и вышла, разворотив бедро. Он упал и все же пытался ползти, не выпуская вонючих досок. Австрийцы, прибежавшие из караульного помещения, подняли его и понесли к себе. Пока пришел дежурный офицер, они стояли и молча смотрели на Пандини. Тут были одни старые ландштурмисты (ополченцы), годные только для тыла, жалкие полубольные люди, и никакого энтузиазма не было у них от того, что они застрелили итальянца. Убийца стоял на кривых подагрических ногах и, моргая подслеповатыми глазами, что-то растерянно бормотал. Это был старый немец из Зальцбурга, кроткий человек, торговавший у себя дома птицами. Мы знали его уже несколько месяцев, и было диво подумать, что он способен убить человека. Однако это было так. Пришел офицер, составили акт, и Пандини на носилках унесли в госпиталь. Его рана была неопасна, но вконец истощенный организм не мог сопротивляться, никаких сил не осталось в нем для борьбы, и Пандини умер через пять дней. Перед смертью к нему вызвали ксендза с птичьим лицом, и нам рассказывали, как умирающий встретил его: «Porca madonna[1] — сказал он, качая головой, — я делал эти вещи всю жизнь, а теперь не надо больше, уходите».

Ксендз стал бормотать над ним своим стеклянным голосом, но Пандини плюнул на пол и показал священнику кукиш.

---

[1] Свинья мадонна.



... Выметайтесь отсюда, падре, крикнул Пандини.

— Pater noster,— крикнул он с иронией, — выметайтесь отсюда. Я видел вас в нашем бараке. Почему вы не помогли нам тогда? Франческо остался бы жив и другие тоже. Почему вы не помогаете нам на земле, а все даете векселя с уплатой на небе? Гнилой товар, падре.

Тут кашель разодрал ему горло. Он кашлял долго, ненависть и боль изуродовали его лицо, и он схватился за сутану священника, точно боясь, что тот уйдет.

— Подождите,— сердито сказал он,— я хочу все выложить вам. Вы здесь молитесь Иисусу и его матери о том, чтобы он помог вам побить итальянцев, а наши попы молятся ему о том, чтобы он позволил итальянцам уложить побольше австрийцев. Кого же ему слушать? Ведь вы все одинаковы, ваш хозяин — папа в Риме, и даже молитесь вы по-латыни одними и теми же молитвами. О, сволочи, сволочи... Уходите же скорее отсюда, черная ворона. Я пойду, куда надо и без вас. Bastanza![1]

Он лег и вытянулся всем телом. Ксендз, притворяясь, что не понял смысла его слов, поднес ему крест, но Пандини, сунув в рот два пальца, из последних сил свистнул так издевательски и богохульно, что ксендз, повернувшись, торопливо ушел.

Вечером Пандини умер.

4. ГОСПИТАЛЬ

У ворот лагеря — караульное помещение австрийцев, за караульным помещением — длинный и низкий барак с решетками на маленьких окнах — гауптвахта, куда сажали арестованных пленных. И против гауптвахты — госпиталь,— восемь или десять бараков, стоящих рядом,— и в стороне от них, у самой проволоки, еще один барак поменьше — мертвецкая.

Бараки были ниже лагерных, и в них тесными рядами

[1] Довольно.

стояли железные койки с тюфяками, провисшими вниз, как животы у малосильных кляч.

В списках я был отмечен медиком, и меня направили в барак для туберкулезных. Тут лежали большей частью татары. Гнилой воздух пропитывал все помещение. Желтые скуластые лица больных казались еще скуластее и желтее от съевшего их туберкулеза. Редкие колючие бороды были точно приклеены к ввалившимся щекам. Широкие носы еще более расплюснулись и опавшими ноздрями прилегали к лицам. Харканье, кашель, свистящее дыхание и стоны слышались непрерывно. Меня проводили в маленькую комнату, отделенную лишь перегородкой от больных.

Старый усатый фельдшер встретил меня добродушно.

— Помощник будете,— сказал он по-украински певуче,— а то заморился один. Ось вам постелька, подушечка и одеяльце. Простыньку вам от капрала достану.

Комнатка выглядела прекрасно, особенно после нар, но было тяжело от близости десятков умирающих людей.

Через час я уже работал. Надев белый, весь в пятнах халат, пошел мерить больным температуру и давать им порошки. Они с любопытством смотрели на меня, спрашивали, откуда и как я попал сюда. На широких деревянных досках служители разносили им синеватое молоко. Больные жадно хватали фаянсовые чашки. Пили причмокивая, медленно, видимо стараясь растянуть наслаждение. Но один больной не пил молока. Я подошел к нему. Это был совсем молодой татарин, в последнем градусе болезни. Серая рубаха его была растегнута. Грудь провалилась так глубоко, что под ключицами были настоящие ямы.

— Пейте молоко,— сказал я.

Он слабо улыбнулся и покачал головой. У него был сильный жар. Я поставил градусник. 38,6. Кожа была суха. Узлы костей явственно проступали под тонким одеялом. Болезнь доедала его. Я напоил его с ложечки. Он с трудом глотал. Белые капли, как пена, остались на запекшихся губах. Его сосед, пожилой татарин ласково посмотрел на меня.

— Ты не трудись, — вразумительно сказал он. — Видишь, он не может пить. Он уже три дня не пьет. Я пью.

И он спокойно перелил молоко умирающего в свою чашку. Не пропадать же молоку.

В двенадцать часов пришел врач, маленький, по виду напуганный старичок. Он, подпрыгивая, ходил по бараку, одних больных пропускал, к другим подходил, стукал сухоньким пальчиком по груди или махал рукой, и тогда Сивач, усатый фельдшер, быстро подымал больному рубаху и прикладывал чистое полотенце, сквозь которое врач слушал грудь и спину. Он кивал, как попугайчик, спрашивал:

— Ну, как се маш? — и, не слушая ответа, торопливо говорил: — Доверовы порошки; микстуру.

Эти два средства были, кажется, единственными лекарствами здесь. Больше ничего не было. Возле молодого татарина врач задержался, потребовал было полотенце, но не стал слушать больного и слабо махнул рукой.

В общем он был не плохой человек. Через несколько дней он тихонько жаловался мне, что ему уже шестьдесят лет, что он детский врач из Теплиц-Шенау и должен здесь возиться с этими бедными ребятами.

Сивач был ленив и скоро всю работу взвалил на меня. Я делал ее охотно: скорее проходило время, да и жалко было пленных, умирающих в чужой стране. Все они, старые и молодые, прошедшие войну и плен, во многом походили на детей. Радовались каждой мелочи, были легковерны и легко впадали в уныние. Меня поразило, что даже самые слабые из них не думали о своей болезни и поступали так, как будто все они были здоровы. Они охотно покупали новые вещи и радовались им несказанно. Помню, как-то раз, когда я вместе с австрийцем собирался в город, больные закидали меня поручениями. Один из них, Бородулин, просил обязательно купить ему щеточку для усов с зеркальцем. Он достал деньги, и когда я принес ему щеточку, он смеялся

от радости и показывал ее всем. Его окружили больные, и он важно приглаживал свои редкие усы, и его белые губы кривились улыбкой.

Из лагеря выпускали редко, и конечно возможность побродить по улицам и магазинам была очень привлекательна. Можно было глядеть на живых, настоящих людей (такими казались все, кто жил на свободе), делать покупки, выпить кофе в кондитерской. В одном магазине я купил кое-какие вещи. Продавщица — маленькая, белокурая немка — ласково говорила со мной. Она расспрашивала меня о моих родных и деликатно, с женской нежностью, сказала, что война вероятно скоро кончится и я смогу вернуться домой. Я спросил ее, почему она так думает.

— О,— уверенно воскликнула она, подымая глаза, как на молитве,— Гинденбург сказал, что войне скоро конец.

Она взялась рукой за медальон, висевший у нее на груди, и я заметил на нем массивное лицо фельдмаршала.

— Вы его любите? — спросил я.

— Я его люблю,— сказала она солдатским голосом и выпрямилась.— Он спаситель нашей родины.

Бедная маленькая мещаночка! Таких не переделаешь. Несомненно, она и теперь, после войны и революции, ничему не научившей ее, продолжает любить Гинденбурга, президента Германской республики.

По улицам маршировали германские лейтенанты, шуцманы стояли, как колонки с лакированными верхушками, и всюду была казарменная суровая чистота. И только почти полное отсутствие мужчин в штатском, очереди бедно одетых женщин у пекарен и раненые, попадающиеся везде, говорили о войне. Присмотревшись, можно было заметить больше. На лицах были усталость и тревога. Шестнадцатый год обескровил страну. Не было хлеба, мяса и масла. Впервые за все время войны стали продавать конину. Не было кожи, и деревянные подошвы у жен и детей рабочих непривычно стучали по камням. Жизнь, на первый взгляд текущая шумным ручьем, в самом деле засыхала и сжималась.

В госпиталь я вернулся вечером. Вонь в бараке почти задушила меня. Я пробежал к себе. Сивач, одетый, похрапывал на постели.

— Погуляли? — сонно спросил он и уснул, не дожидаясь ответа. Спать он был здоров.

Скоро за мной пришли. Звали к больному. Я пошел в барак. Многие больные уже спали. Тусклый свет лампочек затушевал предметы, и лица спящих казались свежими и здоровыми. Надо было впрыснуть морфий Гафизову, страдавшему бессонницей. Гафизов был мясник из Уфы. Он упорно не поддавался болезни, но в борьбе с ней потерял покой. К морфию он привык и капризно требовал, чтобы ему делали впрыскивание каждый вечер. Он сидел, оголив левую руку, и радостно кивнул мне.

— Спасибо, спасибо, — сказал он. — Ох, сон же будет сладкий.

Он любовно смотрел, как игла проколола его кожу, и сейчас же лег. Я прошел в угол, где помещался молодой умирающий татарин. Он сидел сгорбившись и смотрел на пол возле своей кровати. Там на маленьком коврике молился его сосед, старик в тюбетейке. Старик простирал вперед руки и падал на коврик, касаясь его лбом. Я пробовал уложить больного, но он не давался.

— За меня молится, — строго сказал он, кивая на старика. — Может, лучше будет.

Надо было уходить. Одним нужен был морфий, другим — молитва.

Уходя, я услышал сдержанный шум. На койке Бородулина, больного, которому я купил щеточку для усов, сидело несколько человек. Играли в двадцать одно. Огарок в бутылке освещал осунувшиеся, полумертвые лица. Бородулину не везло. Он злыми глазами глядел на партнеров, и пот стекал по его впалым вискам. Он бросил на кон смятую крону, поздешнему крупную ставку, и вдруг жестокий приступ кашля сломил его. Он согнулся, хрипел, но не спускал глаз с банкомета. Тот открыл себе десятку, короля и валета и коле-

бался, прикупить ли еще. Наконец он плюнул и выкинул семерку. Бородулин со стоном протянул руку. Кровь закапала на его рубаху из открытого, трудно дышащего рта, но он не замечал ее и ждал, пока ему отсчитают выигрыш. Я сказал игрокам, чтобы они ложились, но они не слышали, не хотели слышать.

Так в бараке играли почти каждую ночь.

С утра началась суетня. Комендант барака, полный немец холерического темперамента, поднял нас чуть не на рассвете и велел получать для больных чистое белье. Служители скребли барак, счищали паутину из углов и протирали запыленные окна. Оказалось, что ожидали старшего врача, который сегодня должен был отобрать больных для отправки в Россию в обмен на австрийских инвалидов, бывших в русском плену.

Весть эта вызвала необычайное волнение. Больные не знали, кого будут отбирать — самых ли слабых, или тех, кто покрепче и смогут следовательно перенести долгое и трудное путешествие. Нельзя было спокойно смотреть на жалких обитателей барака. Они брились, причесывались, расправляли свои иссохшие члены, прикрытые дряблой кожей. Наоборот, здоровые ежились, горбились, залезали поглубже под одеяло.

Среди больных был Джерадзе, социал-демократ. Он нервничал ужасно: сжимал руки, глухо стонал, бегал и расспрашивал всех.

— Скажи, скажи же, фельдшер,— шептал он, хватая меня горячими руками,— как думаешь, отправят меня? Ах, скажи, не мучь...

И погасал, и плакал, и безнадежно прятал в колени черную голову, и опять бегал по бараку.

Старший врач пришел в двенадцать часов в сопровождении нашего и еще каких-то двух врачей. Капрал стукнул каблуками, чугунным голосом отрапортовал ему.

Старший врач пошел между кроватями, осторожно неся тяжелое брюхо, морщась от вони или от каких-то неприятных мыслей и видимо торопясь.

— Сколько возьмем из этого барака? — спросил он у нашего врача.

— Восемь человек, господин штабс-арцт, — гибким голосом ответил наш старичок и низко поклонился. — Я думаю, вот этот... потом этот...

— Ах, все равно, — равнодушно перебил старший врач. Он остановился возле койки Гафизова, и его взгляд упал на татарина. Он рассеянно склонился к нему, и наш врач так же быстро, как Сивач подавал ему, подал старшему врачу полотенце. Тот приложил ухо к Гафизовой спине, стукнул по его груди пальцем и кивнул головой. Капрал записал Гафизова. Бородулин, приглаженный своей щеточкой, молодцевато сидел на койке. Его череп проглядывал сквозь мертвую кожу, и узкие глаза смотрели, как из глубоких бойниц.

— Здравия желаю, ваше превосходительство! — дико выкрикнул он и весь сломился от кашля.

— Ну ти, — сказал старший врач, брезгливо тыча в него пальцем. — Ну ти — ти в Русска не годный, земржешь на драге.

Он отошел дальше, и Бородулин, глядя ему вслед слепыми глазами, лаял, кашлял, выл...

Джерадзе сидел на своей кровати. Бурые пятна пятнали его щеки, черные глаза не отрывались от фигуры старшего врача, но тот прошел мимо, даже не посмотрев на него.

Семь человек были уже отобраны, и нехватало только одного. Возле молодого татарина старший врач на секунду остановился. Торопился ли он, или полутьма в углу помешала ему разглядеть сидящего больного, но только он ткнул в него пальцем и быстро вышел из барака. Наш врач сделал было к нему движение, но не посмел тревожить своего начальника и слабо махнул рукой. Капрал записал больного и крикнул ему:

— Дому идешь, понимаешь?

Татарин тихо засмеялся, смех булькал в его горле, как вода, льющаяся из бутылки, и смеясь, он стал падать головой на подушку. Его сосед что-то сердито забормотал и подошел к нему.

Служители быстро разбирали чашки. Обед и так запоздал. Джерадзе с лицом, залитым слезами, сидел на койке Гафизова.

— Гафизов,— говорил он, стуча зубами,— ты в Россию поедешь, спаси меня, Гафизов. Пошли письмо в Петербург депутату Чхеидзе. Пускай все делает, он меня с Кавказа знает, пускай спасает.

Он всхлипнул, глотнул воздух и продолжал:

— Пропадаю, скажи, сдыхаю, как собака... Напиши, Гафизов...

Гафизов молча кивал ему. Лицо его было настороженно, как у волка, он видимо, не верил еще своему счастью, боялся спугнуть его.

Разносили обед. Я пошел к молодому татарину (меня беспокоила его неподвижность), но старик не пустил меня. Он прикрыл больного с головой и упрямо говорил:

— Ему покой нужен, не трогай пожалуйства. Потом приди.

И жадными руками он принял обед для себя и для молодого и поставил чашки на стул возле кровати.

Через полчаса я пришел снова. Чашки были пусты, и старик, тихо и нараспев читая по-татарски, усаживал своего соседа лицом на восток, подкладывая ему под спину подушку. Я взял руку молодого татарина. Он был мертв, он успел даже остыть.

— Что ж ты не сказал мне? — с досадой спросил я у старика.— Ведь он еще до обеда умер.

— Ты не сердись,— ласково сказал старик,— зачем обеду пропадать? А сказал бы, что умер,— не дали бы. А тебе все равно, когда умер — до обеда, после обеда. Теперь уйди. За него молиться буду.

И он важно стал расстилать по полу свой коврик.

5. ПРИЕЗД КНЯГИНИ

Зима проходила как-то медленно — не было ей конца и сносу, а между тем нигде вероятно во всем мире не желали так сильно тепла, как у нас в лагере. Холод сушил нас и выматывал ничтожные запасы сил и мужества, еще уцелевшие в истощенных телах. На фронте все же было лучше, чем здесь. Там мы были сыты и тепло одеты, пища грела нас, как жаркая печь, и мы тогда еще не знали по горькому опыту, насколько труднее холодать постоянно голодающему человеку. В плену же мы по-настоящему поняли, что значит продрогнуть до костей. Сквозь худую, вялую и тонкую кожу, сквозь рыхлые, мягкие мышцы холод проникал в наши тела. Мы были, как дырявые мешки, костяки промораживались насквозь, и многие испытывали страшное и мучительное ощущение: мерзли кости. Мерзли и сводились какой-то особой железной болью, и тогда нельзя было ходить, шевелить руками или делать резкие движения. Человек становился жалким, тупым и никуда уже больше не годился.

За зиму умерло несчетное количество пленных. Они умирали от самых легких болезней, которые в ином положении перенесли бы на ногах, — от простуды, воспаления легких, небольших нарывов или гастрита. Люди стали совсем непрочными, и жизнь так же легко покидала их, как рвется намокшая бумага. Нечем было бороться, и смерть встречали равнодушно и безучастно.

И вот в эти проклятые дни, на грани зимы и весны, приехала в лагерь из России важная особа — княгиня и приближенная императрицы Марии Федоровны. Она приехала при посредстве шведского Красного Креста, и, как официально говорилось, ей было поручено ознакомиться с жизнью русских пленных в австрийских лагерях и помочь им.

Ее приезд взбудоражил весь лагерь. В первый раз за все время войны к нам приезжала с далекой родины русская женщина, свободная, обладающая властью облегчить нашу жизнь. Она должна увидеть, в каких скотских, нечело-

вреческих условиях мы живем, как ужасно нас кормят, как морозят. Она не сможет не возмутиться, не сможет не проникнуться нашими муками. И кто знает, ведь уже ходили слухи, что пленных будут отправлять в нейтральные страны, что слабых и больных вернут в Россию, и во всяком случае есть возможность прислать в лагерь продовольствие и вещи из Голландии, Швейцарии и Швеции.

— Скоро приедет княгиня,— говорили по баракам, и это звучало, как если бы от нее ждали избавления.

Никакой надежды на близкое окончание войны у нас не было, наши мучения достигли уже всех мыслимых пределов, и кто же кроме княгини мог нам помочь? О приезде ее уже ходили легенды, и его представляли примерно так: она приезжает, добрая к нам, суровая к австрийцам, обходит бараки, качает головой при виде голодных, замученных людей, их грязных нар. Она жестоко распекает австрийцев, она угрожает им и требует, чтобы они немедленно изменили условия нашей жизни. Конечно она привезет с собой разные вещи: продовольствие, одежду или еще что-нибудь. Австрийцы будут суетиться, извиняться перед княгиней, ибо невозможно, чтобы они могли перед ней оправдать все тяжести и лишения лагерной жизни.

Разрабатывался проект торжественной встречи. Намечали, кому говорить с княгиней. Решили, в том случае, если австрийцы не отойдут от нее, незаметно сообщить ей, чтобы она одна, без них, побеседовала с пленными. На этой почве даже появилась рознь и нелады между людьми. Дело в том, что не всем было одинаково худо. Неравенство и классовая рознь были сильны в лагере. Тут было много зажиточных людей — торговцев, интеллигентов, богатых крестьян, которые получали деньги и посылки с родины. Я уже говорил, что многие из числа унтер-офицеров, фельдфебелей, ремесленников и кустарей устроились при австрийцах. Они были заведующими кухнями и мастерскими, комендантами бараков, писарями в канцелярии, делали на сторону разную работу и в общем жили неплохо. У них были свои отдельные

помещения, пища им готовилась особо, они пользовались разными льготами, и плен не давался им так ужасно и гибельно, как массе, живущей в нетопленых бараках на казенном пайке. Это они были инициаторами постройки лагерной церкви, и они же преимущественно ходили туда молиться. Они не стеснялись преследовать наиболее ярых безбожников, не посещающих церкви, и прибегали при этом даже к власти австрийцев.

Нет, единства не было среди нас, и это стало ясным к приезду княгини. Ее думали встретить по-разному. Лагерная буржуазия не очень была заинтересована в материальной помощи. Ей хотелось продемонстрировать перед княгиней свои патриотические и христианские чувства, так как ходил слух, что всех пленных будут судить по возвращении в Россию, и вот тут был случай доказать свою лойяльность и благонравие. Был план встретить княгиню пением гимна и затем устроить службу в церкви. Для этой цели предполагалось пригласить православного русинского священника, который жил в соседнем городке и в особо торжественных случаях приезжал в лагерь. Опасаясь, чтобы «люди из бараков», как звали у нас всех живущих на казенном пайке, не нажаловались княгине и тем не рассердили австрийское начальство, которое могло бы лишить их теплых местечек, лагерные богачи пытались отстранить их от устройства встречи. Они дошли до того, что тихонько предупредили австрийских капралов и даже лейтенанта о том, что намерены хвалить жизнь в лагере. Понятно, сколько злобы и горечи назревало среди большинства пленных. Они угрюмо сторонились своих зажиточных товарищей и собирались отдельно от них у себя по холодным баракам.

Приезд княгини был назначен через два дня, а между тем не было видно, чтобы австрийцы готовились к нему. Они не чистили, не убирали лагеря, пища не улучшалась, и обычные лагерные будни были в день прибытия княгини. Только на этот раз людей из бараков не погнали на работу.

Княгиня приехала в желтом фаэтоне. Ее сопровождал пол-

ковник — комендант лагеря, его помощник и двое каких-то штатских. Комендант помог ей выйти, поклонился, и она быстро прошла к группе пленных. Австрийцы остались у фаэтона. Фельдфебель Охрименко, несколько унтер-офицеров и интеллигент Песоцкий вразброд запели «Боже, царя храни», но, испугавшись повернувшегося к ним лейтенанта, растерянно замолкли. Гимн позорно провалился.

Княгиня была уже пожилая женщина со спокойными голубыми глазами, одетая в коричневую, изящную куртку, с наколкой сестры на голове, с повязкой Красного Креста на рукаве.

— Здравствуйте, здравствуйте, — приветливо сказала она. — Ну, вот, я к вам приехала, дорогие солдатики. Расскажите же, как вы тут живете?

Она оглядела приличные шинели и далеко неистощенные лица (тут была лишь одна половка лагеря) и довольно кивнула головой. Вид у вас хороший, — прибавила она, — и лагерь здесь чистый, чище чем другие.

Фельдфебель Охрименко — шкура, как его звали солдаты, — выступил вперед и, вытянув руки по швам, скороговоркой, как на рапорте, доложил княгине, что живут они хотя и трудно, но все же, слава богу, ничего, что страдают только оттого, что не могут защищать родину-мать и его императорское величество государя-императора (последние слова он произнес тихо, чтобы, упаси боже, не услыхали австрийцы) и что они дены и ночь молятся о ниспослании победы православному российскому воинству. Заканчивая свою речь, Охрименко пытался даже всхлипнуть, говоря о том, что приезд княгини, ее сиятельства, для всех пленных великое и якобы незаслуженное счастье.

Пока он говорил, десятки и сотни людей незаметно надвинулись со всех сторон и окружили княгиню. Она увидела их и невольно вздрогнула. Она уже вероятно видела таких же заморенных, полумертвых людей и в других лагерях, знала, что ничего приятного нельзя от них ожидать, и недовольная гримаса скользнула по ее лицу.



...Родина не забывает вас. Я привезла вам святые евангелия.

— Ну, вот,— громко сказала она,— надеюсь, что вам живется не так скверно? Ваши братья на фронте продолжают свое славное и доблестное дело, а вы все же избавлены от опасностей, и это, поверьте мне, уже много. Родина не забывает вас, и ее величество императрица Мария Федоровна поручила мне навестить вас. Я уверена,— она перекрестилась, и за нею перекрестился Охрименко и некоторые другие,— я уверена, что вы не лишены забот нашей святой церкви. Думаю, что вам дана возможность молиться. Я просила австрийское начальство, и мне любезно обещали, что к вам будут присылать православных священников, я же привезла вам святые евангелия. Они находятся у господина коменданта и после соответствующего осмотра будут вам розданы.

Толпа надвинулась на нее сильнее, и тщетно Охрименко и его товарищи пытались оттереть ее. Землистые, острокостные лица, съеденные голодом и болезнями, придвинулись к княгине, тяжелый запах немытых тел и грязной одежды, не снимаемой месяцами, душно обдал ее, и вот выдвинулся Савельев, худой и согнутый человек с острой бородкой, с суровыми печальными глазами, зарайский плотник.

— А как же с нами быть, ваше сиятельство,— глухим голосом начал он,— видите, какие мы... Хотя бы, скажем, сухариков черных прислали нам или топили, скажем, в бараках.

Голос его порвался, взвизгнул, и, махнув рукой, Савельев, плача, сказал:

— Пропадает совсем народ — какие же тут евангелия...

Охрименко ловко оттер его и сладостным голосом попросил ее сиятельство присутствовать при богослужении.

Но княгиня отказалась, сказала, что у нее еще много дел. Она еще раз спокойными голубыми глазами осмотрела людей барака, как будто не замечая их страшного вида; она не ответила Савельеву и только напомнила, что солдатики должны молиться и поручить себя заботам святой матери-церкви, а она, княгиня, сочтет своим долгом сообщить ее ве-

личеству, что нашла их в добром здравии и истинно христианском смирении. Она помахала рукой, сказала: «До свидания же, дорогие солдатики», и пошла к фаэтону.

Комендант помог ей сесть, его помощник щелкнул шпорами, и они уехали.

6. МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ

К моменту Февральской революции в Германии и Австро-Венгрии насчитывалось около двух миллионов русских военнопленных. За очень небольшими исключениями они жили в самых чудовищных, самых скотских условиях. Центральные державы погибали от недостатка средств. Сто двадцать миллионов гражданского населения были целиком подчинены нуждам гигантских фронтов. В городах (кроме самых больших) была ужасающая тишина. На улицах попадались женщины, дети, раненые. Дети были бледные, тонконогие, с запавшими серьезными глазами. Молодой мужчина в штатском вызывал всеобщее внимание. На него оглядывались, в его фигуру всматривались со злобой и удивлением: здоров, не калека,— почему же он не на фронте? На каждой улице были госпитали. Удушливый запах иодоформа и гнили истекал от них.

Армия военнопленных разложилась гораздо раньше, чем армия на фронте, и стала огромным сборищем отчаявшихся и озлобленных людей. Среди них было бы смешно вести какую-нибудь патриотическую пропаганду. Они со скукой и презрением относились ко всему тому, что не касалось их собственной участи. Они медленно вымирали и видели, что царское правительство бросило их на произвол судьбы, как только они стали ему не нужны. Лишь редкие письма и изредка холщевые мешочки с черными сухарями приходили из далекой родины.

Но и эти письма не давали радости. Из деревни писали о податях, о реквизиции скота на военные нужды, о полях, ко-

торые некому было обрабатывать. Из городов сообщали о дороговизне, об отсутствии самого необходимого. Пленные тысячами погибали от тифа, дизентерии и истощения. Возле каждого лагеря росли унылые кладбища, и белые шеренги безымянных крестов занимали австрийские и венгерские поля.

На тесных и грязных островках земли, отгороженных от всего мира колючей проволокой, в зловонных, холодных бараках безвыходно умирали сотни тысяч людей, брошенных сюда во имя защиты царя, отечества и веры.

Рано утром начиналась лагерная жизнь. Разносили хлеб по четверти кило на человека в день и чай — зеленоватый настой крапивы, совершенно не сладкий (считалось, что сахар кладется в чай). Хлеб съедался тут же при получке, и весь день люди ходили голодные. В восемь часов выгоняли на работу. Шли невыносимо медленно, как идут на похоронах. Ослабевшие руки с трудом поднимали лопаты и кирки. Австриец-надсмотрщик, старый ополченец, сосал почерневшую трубку и глядел безжизненными глазами. Он знал, что бесполезно понукать измученных пленом людей, да и самому ему было немногим лучше, чем им. В лагерь возвращались так же медленно: там не было ничего хорошего.

Обед не утолял голода. Многие доливали котелки водой, чтобы было больше жижи. Котелки обсасывали даже снаружи, если на их боках застревала хотя капля супа. У кухни всегда дежурили кучки людей. Они стерегли кухарей, выносивших в помойку очистки овощей. Яму брали штурмом. Всякая брезгливость давно исчезла. Счастливцы, получавшие кое-какие гроши, шли в кантину — жалкую лагерную лавочку — покупали селедку и съедали ее целиком — с головой и хвостом, слизывая с бумаги приставшие к ней чешуйки. Некоторые съедали и промасленную бумагу.

Изредка приходили посылки. Получил посылку и Карьяков, мой сосед по нарам, грузный, непредприимчивый человек, с пятнистым, словно сделанным из коричневого линолеума, лицом.

Посылки присылали ему из Москвы. В деревянных, за-

пакованных в добротное полотно ящиках, выложенных внутри вощеной бумагой, лежали копченые колбасы, консервы и другие прекрасные вещи. Тяжелый, как слон, равнодушный к отчаянным взглядам товарищей, Карьяков, уселся на нарах и медленно пожирал все эти сокровища, чавкая и вздыхая. Насытившись, он забил ящик гвоздями и поставил его под подушку.

Ночью я не мог уснуть. Мы лежали с Карьяковым по обе стороны нар так, что наши изголовья соприкасались, и нестерпимый, дурманящий запах исходил из-под его подушки. Я тихо протянул руку, пытаясь отодрать стенку ящика, но ничего не выходило. Спал я плохо. Меня мучили кошмары, снилось, что я прогрызаю зубами ящик, всовываю в дыру голову и ем копченую колбасу. Слюни текут изо рта, колбаса твердая, и мне нечем ухватить ее (только голова в ящике), и она лезет в горло и душит меня. Задыхаясь, я проснулся. Кто-то мычал или выл, что-то тяжелое давило меня. Я рванулся и выскочил из постели. Угольная лампа едва светила, борты двухэтажных нар мутно высекались из полутьмы, и весь барак был похож на огромную шахту. Карьяков сидел верхом на каком-то человеке и рвал его, а тот мычал, не отрывая рук от лица, и прятал голову. Шея его сокращалась в судорогах, как-будто он что-то жевал и трудно глотал.

— Помогите,— застонал Карьяков,— он жрет мою посылку.

Бешеным усилием ему удалось повернуть вора на спину, и я увидел, что тот руками и зубами держит копченую грудинку, глаза его закрыты, по лицу текут слезы, и он жует. Карьяков, рыча, бил его по голове, по животу и топтал ногами. Он ухватил грудинку и рванул ее, но человек волочился по нарам, упорно не выпуская мяса из рук и изо рта, и беспрерывно жевал.

Он словно не замечал ударов, только весь собирался в комок и все усилия тратил на то, чтобы не выпустить мяса. Когда Карьяков, наконец, вырвал у него полусъеденный кусок, вор медленно приподнялся и шумно, с присвистом вздохнул.

— Мало поел,— с неожиданным добродушием сказал он, меряя глазами грудинку,— с фунт, не больше.

И, спокойно уходя, заботливо, без всякой иронии, осведомился:

— Чать ручки об меня здорово оббили? Мы ведь лужены.

Вечерами шли в лагерный клуб. Слушали репетицию лагерного духового оркестра, глядели на тусклый огонь керосиновой лампы и ждали чтения немецкой газеты, которую переводил им вольноопределяющийся, выписывавший ее из Праги.

Сведения о боях принимали молча. Нам было безразлично, кто победит — русские или немцы; хотелось только мира, и мы радостно встретили бы и победу германцев, если бы она принесла нам мир.

Первые вести о Февральской революции произвели потрясающее впечатление на пленных. Но в то время как интеллигентская часть лагеря радовалась конституции и свержению самодержавия, основная масса пленных интересовалась другим: приблизит ли революция наступление мира, спасет ли она их от смерти, вырвет ли из плена и вернет ли домой?

Начались митинги, клуб украсили красными флагами.

Уже тогда в лагере начались бурные дискуссии, в которых участвовали главным образом интеллигенты, а масса внимательно наблюдала, но редко вмешивалась.

После первых опьяняющих вестей пришли другие, холодные и спокойные. Отрекся Николай, за ним Михаил, была провозглашена республика, но Милюков уже торжественно объявил о верности союзникам, о войне до победного конца.

Итак, война продолжалась, новое правительство, как и царское, требовало солдатской крови, и миллионы рабочих и крестьян, сидевших в окопах от Черного до Балтийского моря, так же просто и безошибочно поняли это, как и миллионы их братьев, погибавших за колючей проволокой в

лагерях Германии и Австро-Венгрии. И те и другие отвернулись от Временного правительства, перестали ему верить и стали его врагами.

Задолго еще до Октября, отрезанная от России, вся масса пленных, за небольшими только исключениями, научилась ненавидеть Временное правительство и не доверять ему. В лагерях назревали те же сдвиги и настроения, которые ломали русский фронт за тысячу километров отсюда. В своих бараках, сбиваясь тесными кучками, в злобе, бессилии и тоске пленные рассуждали так:

— Сделали революцию солдаты, потому что не в силах были больше воевать. Царя прогнали потому, что царь был за войну. Стало быть, революция должна означать конец войны. Но конца не видно — значит, произошло что-то неладное, где-то там обманули, продали, и солдаты остались в дураках. Никогда не было, чтобы солдату хотелось воевать. Драться он шел только по принуждению. И фронтовики должны показать, что они не согласны больше воевать. Неужели не покажут?

Трудно представить, с какой буйной и глубокой радостью встретили в бараках первые вести о возникшем братании на фронте, о массовом дезертирстве солдат и об их нежелании итти в наступление. Это было как раз то, что они ожидали от своих товарищей, это было настоящее дело, оправдывающее революцию. И те самые сведения, которые приводили в бешенство и отчаяние всю интеллигентско-буржуазную верхушку лагеря, были для них наиболее сладкими, законными и желанными. В лагере нарастала большая рознь, сильнейший раскол между двумя слоями людей, желания и интересы которых расходились под углом в сто восемьдесят градусов. Они становились врагами, ненавидели друг друга и готовились к упорным схваткам.

Замечательно было, какое сочувствие находили люди барака, бедняки, медленно умиравшие с голоду на казенном пайке, среди австрийских ополченцев, охранявших лагерь. Ополченцы приходили в бараки тайком от своего начальства,

чтобы сообщить о новостях, вычитанных ими из газет, и о том, как они рады русской революции. Они жадно выспрашивали, скоро ли положит революция конец проклятой войне, и правда ли, что русские солдаты братаются на фронте с немецкими и австрийскими солдатами? Глаза у них блестели, и ноздри раздувались; они потрясали своими трубками — ах, если бы и у них произошло что-нибудь такое! Разве им нужна война? И уходя, они трясли руки пленным и полушутя, полусерьезно просили их торопить своих товарищей на фронте поскорее кончать с войной.

Весна наступала неохотно, и когда в апреле потеплело, люди не поверили теплу. Они выползали, как крабы, из промороженных бараков и недоверчиво щурились на теплое солнце. При свете было тяжело смотреть на них. Они не брились, так как не было возможности, самые молодые из них казались стариками, губы у всех были белые, лица землистые, и не только щеки, но и виски у них провалились. Ходили они, согнувшись, нетвердой походкой, и их глаза были подернуты тусклой пленкой, как у ночных птиц. Многие разучились смеяться и улыбались как-то по-мертвому, не по-человечески. В желтых, обескровленных деснах шатались зубы — у всех поголовно была цынга, нельзя было жевать хлеб, и часто бывало, что человек пальцами вытаскивал свои зубы и бросал их на землю.

Стояли ясные дни. С гор, окружавших лагерь, веяло теплым ветром, снег побурел, осел и пошел черными дырками. От соснового леса несло клейкой весенней смолой, ее прозрачные коричневые капли густо проступали на сосновых стволах.

Приближалась пасха. В лагерной церкви делались пышные приготовления для ее встречи. Никогда еще церковное ядро, центром которого был фельдфебель Охрименко, сменивший уехавшего из лагеря Козеева, с такой тщательностью не готовилось к празднику. Церковники придавали большое зна-

чение пасхе. Она должна была, по их замыслам, отвлечь массу от опасных настроений, навеянных революцией. Бог еще знает, что там будет в России,— вернее всего, что злонамеренный бунт против царя и законной власти кончится ничем, а тут в лагере они чувствовали, как отдалялась от них до сих пор покорная армия пленных, как росла ее отчужденность и ненависть к верхушке лагеря, ко всем, недовольным революцией.

В прежние годы пленные все же шли в церковь. Одни молились, другие просто смотрели и слушали пение прекрасного церковного хора. Церковь напоминала им о прежней жизни, о праздниках, и это было приятно. Настоящих же богомольцев в лагере было мало.

Церковь стали украшать задолго до пасхи. Из леса таскали хвою, сделали новый аналой и соорудили из картона и бумаги огромнейшие буквы «Х. В.», в которые по вечерам вставляли зажженные лампы. Церковный хор репетировал каждый вечер, и Охрименко хитро распустил слух, что всем пришедшим в церковь будет выдано чем разговеться. У него были хорошие связи с пекарями, и говорили, что он заказал у них несколько больших куличей. Куличи конечно были большой приманкой, и из-за них мог пойти в церковь кто угодно. Белого хлеба пленные не видели очень давно, и даже в продаже его не было.

Сторонники Охрименко с таинственным видом расхваливали своего шефа за то, что он якобы сделал для солдат. Они говорили о том, что единственное, что оставалось пленным,— это возможность хорошо помолиться, и вряд ли церковь вместит всех желающих, потому что народу наверно наберется очень много, и лучше всего сделают те, которые запишутся заранее. А запись принималась у старших барака.

По всей видимости пасха в этом году должна была пройти с особой торжественностью.

И вдруг случилась большая неожиданность. В лагерь прибыла новая группа пленных. Это были первые пленные, переживавшие революцию на фронте,— первые живые оче-

видцы тех великих событий, о которых мы как-никак знали только по наслышке. Они видели то, о чем только читали, и если была какая-нибудь неправда во всех газетных сообщениях, то теперь мы могли выяснить ее.

Весь лагерь бросился к бараку, куда привели пленных. Они прошли обычный карантин, их шинели, одежда и белье были продезинфицированы и издавали удушливый запах. Их было всего шесть человек, и все они казались нам людьми из нового, прекрасного мира.

Среди них выделялся человек по фамилии Пахомов, в папахе, с русой бородой и острыми желтыми глазами, в которые точно было налито горячее масло. На пленных набросились сразу, не давая им отдохнуть, и засыпали, как водится, сотнями вопросов. Они отвечали быстро и охотно, и каждая мелочь, которую они нам сообщали, таила в себе столько нового, чудесного и неожиданного, что люди смеялись, недоуменно вскрикивали: «Да ну?! Да что ты говоришь?» хлопали себя по коленям, качали головами, глаза у них сияли, и на лицах было растерянное и счастливое выражение.

И в самом деле, то, что сообщали нам наши новые товарищи, переворачивало и швыряло к черту все те обычаи, законы и правила, которые мучили нас во время военной службы. Офицеры стали обращаться к солдатам на «вы», не имели права шпынять их и даже заискивали в них. Солдаты образовали свои комитеты, и комитеты эти сразу получили такую власть, что фактически сделались хозяевами на фронте. Многие солдаты уходили с фронта, и никто не смел их задерживать. Самых плохих и жестоких офицеров поубирали. Устраивали собрания и митинги, на которых обсуждали, стоит ли дальше воевать. Братались с немцами.

Правда, Временное правительство было всем этим недовольно и пыталось потеснить солдат, рассказывали новые пленные, но это ему не удалось. Правительство это хотя и не царское, но что-то в роде него. Стоит за войну. Под него уже подкапываются настоящие люди — большевики. Большевистские делегаты имеются и на фронте. Они говорят,

что войну надо кончать сейчас же, так как воевать не за кого и не за что.

Новым пленным не давали покоя. Всем надо было побывать у них, потрогать их, услышать их рассказы. Пахомов говорил лучше других. Он был питерский рабочий и на фронте председательствовал в ротном солдатском комитете. Он присматривался к лагерной жизни, ходил по баракам, расспрашивал людей и, нечаянно попав в церковь, спросил с удивлением:

— А это зачем? Неужто без бога не проживете? Бог ведь — его превосходительство.

Он скоро узнал про Охрименко, про лагерные порядки и про ту рознь, которая существовала здесь между зажиточными и «людьми барака». Он зло усмехался, слушая рассказы пленных, и желтые глаза его кипели. Он говорил, что так везде — и в лагерях, и на фронте, и дома — везде обман и несправедливость, и что вот теперь пришло настоящее время все изменить и переделать. Он приводил много интереснейших подробностей из нового солдатского быта, рассказывал о непрерывных солдатских волнениях на фронте и в тылу, о том, как приезжали на фронт генералы и комиссары временного правительства уговаривать солдат драться, и о том, как начальство в первые дни после революции пыталось скрыть весть о ней от солдат.

...И Пахомов и его товарищи совсем не походили на нас, как будто революция смыла с них черную подневольную копоть, униженный и несвободный вид, свойственный нам. И Пахомов признавался нам, что мы поразили его. У них на фронте за те немногие недели, которые прошли со времени переворота, изменилось очень многое. Куда-то к черту с непостижимой быстротой полетел старый, проклятый быт. Совсем по-иному чувствовали и вели себя солдаты. Они не козыряли офицерам, не называли их «ваше благородие», а говорили им «господин поручик», «господин полковник», они все более сознавали свои права, свою силу и власть, и теперь не легко уже будет их заставить вернуться к старому.

В свою очередь мы рассказывали Пахомову про нашу лагерную жизнь, про мучения, которые мы переносим здесь, и он подбодрял нас, уверяя, что теперь осталось уже недолго терпеть, и по всему видно, что миллионы людей, сидящие в окопах, на фронте, не будут больше воевать и заставят правительство заключить мир.

Пахомова спрашивали: а что будет, если правительство не пойдет на мир? И он хмуро отвечал, что тогда солдатский бунт, солдатская революция будут продолжаться, что разнесут фронт со всеми штабами и с генералами, походными церквами, с полковыми попами, разнесут Питер, министерства, где сидят лодыри и зачинщики войны, разнесут тыл, где сохранились тысячи гадов, сосущих и разоряющих страну. Пахомов рассказывал о питерских и московских рабочих, приславших своих выборных на фронт, о том, что рабочие заодно с солдатами и вместе с ними будут бороться за землю, за мир, за хлеб.

Он говорил спокойно и негромко, с какой-то значительностью в голосе, и казалось, что он крепко уверен в том, что говорит, что знает он много и человек опытный и бывалый.

Он сразу не поладил с Охрименко и не выказал никакой боязни перед ним, когда оба встретились, и Охрименко сердито сказал ему, чтобы он не мутил лагерь, и что он такую сволочь в прежнее время сразу бы укротил. Пахомов, не обидевшись, с обычным своим спокойствием, даже задумчиво ответил, что прежнего-то времени к счастью уже нет и что такие шкуры, как Охрименко, сейчас годны разве что в кашевары, а вернее всего никуда не годны, надо из них мыло варить...

Это случилось как раз накануне пасхи, накануне знаменательного вечера, когда должно было совершиться великое торжество в лагерной церкви. Пышные охрименковские приготовления были закончены, церковь великолепно убрали, десятки восковых свечей и несколько керосиновых ламп дол-

жны были ярко осветить ее, пекаря таинственно пронесли туда объемистые кульки, и ожидался приезд священника.

После обеда из канцелярии принесли немецкие газеты. В газетах тревожно писали о том, что новое русское правительство не склонно к миру и что оно решило продолжать войну. В статьях ехидно подчеркивалось, что прежние империалистические тенденции имеются и у революционного правительства, и русский народ, уставший от войны, не получит никаких выгод от свержения царского ярма.

Эти вести сильно взволновали лагерную массу. Сотни людей набились в барак к Пахомову, его спрашивали о положении в России.

Неужели солдаты не могут добиться мира? Что же делают эти фронтовые солдатские комитеты? Что же делает Совет солдатских и рабочих депутатов в Петрограде?

Весь день вокруг Пахомова толпились густые толпы встревоженных, отчаявшихся людей, и было решено, что завтра вечером он должен выступить с подробным докладом о революции, о положении на фронте, о том, какие перемены можно ожидать в России и скоро ли наступит мир.

Весть о его докладе быстро разнеслась по всему лагерю. «Люди барака» с оживлением и радостью говорили об этом, и только немногие смущенно вспоминали о том, что доклад состоится одновременно с церковной службой. А служба в церкви назначена была на шесть часов вечера, так как специально приезжающий священник не хотел поздно оставаться в лагере.

К вечеру следующего дня осветили церковь. У входа обрамленные зеленой хвоей горели огромные буквы «Х. В.». Охрименко в новом мундире с жирными фельдфебельскими нашивками важно пришел в церковь. На правом клиросе уже собрался хор. Члены церковного совета делали последние приготовления.

Время приближалось к шести, с минуты на минуту ждали приезда священника, а народа в церкви было совсем мало. Охрименко забеспокоился. Придушенным голосом он рас-

порядился, чтобы старшие бараков побежали оповестить людей и гнали бы их поскорее в церковь. Они ушли. Охрименко каждую минуту выбегал смотреть, не идет ли народ, не едет ли священник. Понемногу набралось человек шестьдесят-восемьдесят, главным образом из верхушки лагеря, но в просторном бараке, рассчитанном почти на тысячу человек, их совсем не было видно.

Простучали колеса, это приехал священник, и Охрименко и еще несколько человек побежали встречать его. Священник вошел медленно, ему говорили, что русские солдаты ожидают его с великим нетерпением, что церковь не вместит всех, желающих помолиться в светлый праздник, и он удивился, что почти никого нет. Охрименко тупо глядел ему в глаза. Запинаясь и заикаясь, он бормотал, что сейчас все придут и что можно готовиться к началу богослужения. И пока он объяснял все это священнику, в церковь один за другим вернулись старшие, с ними пришло человек пятнадцать пленных, и старшие с отчаянным видом доложили, что бараки пусты и все пленные слушают доклад Пахомова. Священник понял, что случилось что-то неладное, он медлил облачаться и, кусая черную свою бородку, злыми глазами глядел на Охрименко. И когда в семь часов все такой же безлюдной оставалась церковь, ярко по-праздничному горели лампы и свечи, и сиротливо толпился на клиросе смущенный хор, поп потребовал объяснений. И, давясь словами, не то плача, не то воя, Охрименко понес ему путаную чепуху о том, что в лагерь будто бы приехал антихрист, бес, бунтовщик, революционер и подлой души человек, который сейчас, в святой вечер, ведет с солдатами блудную беседу о том, как надо свергать царя и жить в безбожье. Поп хотя и не понял всего, но сейчас же разоблачился и уехал.

Длинный, просторный барак, отведенный под клуб, был доотказа набит людьми. Лагерь опустел. Даже дежурные по баракам оставили свои посты, множество больных притащи-

лось из госпиталя. Было так тесно, что нельзя было сидеть. Среди рыжих русских шинелей серели австрийские мундиры: несколько десятков австрийцев тайком от своих офицеров пришли послушать доклад о русской революции.

Пахомов говорил, стоя на опрокинутом ящике. Он повторил уже известный многим из нас рассказ о том, как на фронт пришли первые вести о свержении царя, как генералы и офицеры пытались сначала скрыть от солдат эту весть и как резко потом они были вынуждены изменить свои отношения к солдатам. Но рассказ действовал на пленных так же сильно и свежо, как и в первый раз, и часто целая буря криков и аплодисментов прерывала Пахомова.

— Эт-то ты понимаешь? — почти безумно кричал высокий, уже немолодой пленный. — Командиру полка прямо и говоришь «господин полковник», а он тебе — «вы».

Рассказ об образовании солдатских комитетов и о том влиянии и власти, которые они сразу получили среди солдат, опять вызвал крики, аплодисменты и нервные, радостные всхлипывания. Пахомов, подхваченный и возбужденный откликами, которые вызывали его слова, говорил все лучше и горячее. Он приводил множество мелочей, показывавших, как изменился солдатский быт, рассказывал, как солдаты проверяли офицеров, как они стали принимать участие в управлении частями, как требовали смены жестоких или плохих командиров, как отдавали под суд некоторых генералов и поощряли братание с германцами и австрийцами.

— А царь, царь-то у вас где? — с нестерпимым любопытством крикнул чей-то голос.

Пахомов сделал паузу и наклонился вперед. Его глаза светились, он трудно дышал.

— Царь? — спросил он и, выждав три мучительных для собрания секунды, веско сказал: — Царь под стражей сидит. В Сибирь его собираются отправить, товарищи, куда он наших братьев отправлял.

Его сообщение произвело потрясающее, страшное впечатление. Образ царя, отправляемого в Сибирь, повеял на крестьян грозной, но сладостной жутью.



...Пахомов говорил, стоя на опрокинутом ящике.

И сейчас же послышались новые голоса.

— А война? Война как? Почему войну не кончают? Почему в наступление идут? Ведь солдаты теперь сами решают?

Пахомов поднял руку.

— Вот тут-то и главное, товарищи, — сказал он. Мы наступления не хотели, мы были за мир. Некоторые полки так и не пошли в наступление. Все это буржуазия, все это Керенский.

В клубе началось нечто невозможное. К кафедре пробрались интеллигенты. Они кричали на оратора, на солдат, и Дорохов, очкастый, сутулый меньшевик из Киева, вскочил на кафедру.

— Товарищи! — пронзительно крикнул он. — Наступление было правильным. Временное правительство для охраны демократии, для охраны добытых свобод, должно довести войну до конца. Иначе императорская Германия, Германия Вильгельма...

Ему не дали договорить. Под дикий рев и улюлюканье его попросту стащили с кафедры. Пахомов невесело посмотрел на него.

— Стало быть, и у вас есть такие? — выразительно сказал он, когда наступила тишина. — У нас в России, товарищи, таких много. Из-за них не мало крови прольется. У нас, товарищи, только большевики за мир.

Пахомов продолжал говорить. Его слушали с таким вниманием, с такою неизбывной жадностью, что казалось, говори он всю ночь, до самого утра — никто не уйдет из барака, никто не сдвинется с места, так как Пахомов рассказывал о жгучих, новых и прекрасных событиях, о могучих сдвигах, свидетелем которых он был и которые обещали скорую свободу и новую жизнь всем этим исстрадавшимся, замученным войной и пленом людям.

Охрименко пришел сюда, когда доклад давно начался. Он послушал, постоял, посмотрел на все эти солдатские лица,

преображенные неведомым ему порывом, и тихо вышел из клуба. Никто не заметил, как он вошел, никто не видел его ухода. Он шел медленно, опустив голову, в раздумье. Злобы уже не было у него, он был подавлен, встревожен и печален. В первый раз он понял, что действительно случилось что-то очень большое и непоправимое, случилось то, что выбило из наезженной колеи целые страны и народы, и не ему, Охрименко, бороться с этим.

Он посмотрел на небо со смутным страхом и надеждой. Ведь бог сидел там, как корпусный командир, архангелы были у него штаб-офицерами, ангелы—поручиками, и вдруг он захочет подать какой-нибудь сигнал, говорящий о его гневе? Но сигнала не было, и Охрименко тоскливо посмотрел вокруг.

Была тихая весенняя ночь, узенькая скобка луны мерцала спокойно и дружелюбно, серебряные зерна звезд были рассыпаны по синей небесной степи, и шерстистые облачка спали там, как заночевавшие в поле овцы. Хорошо было в эту ночь, а бедному фельдфебелю казалось, что громы и бури идут откуда-то издалека и сотрясают лагерь.

Он шел вверх по расчищенной по случаю праздника дорожке, и вдруг яркий свет поразил его. Он смотрел долго, не в силах собрать мыслей, и понял. Это перед церковью горели огромные буквы «Х. В.», хотя в церкви было темно и она была на замке.

Охрименко постоял, поставил лесенку, потушил лампы, горевшие в буквах, и пошел в свой барак.

Большинство пленных состояло из крестьян, мало развитых и забитых нуждой и болезнями людей. Их мысли и кругозоры ограничивались жизнью своих деревень, и только последние события расшевелили их и заставили думать о вещах, прежде мало их интересовавших. До сих пор они да и почти все другие пленные ничего не знали или совсем мало знали о Ленине, о большевиках, о революции.

Тем удивительнее было то, что произошло в следующие

дни и недели. В сущности, не было и агитации. Пленным попросту стало известно, что новое правительство в самом главном вопросе, т. е. в вопросе о продолжении войны, продолжает политику царского правительства. Они узнали, что у помещиков земли не отбирают и что единственные люди, которые стоят за мир, за национализацию фабрик и за безвозмездную передачу земли крестьянам, — это большевики.

О большевиках, об их программе жадно и нескончаемо расспрашивали пленные. Пахомов, единственный большевик в лагере, рассказывал им подробно о советах, о Ленине, о том, как растет большевистское влияние на фронте и в городах, и искренно недоумевающие голоса перебивали его во время бесед:

— Экие дураки наши-то. Почему все в большевики не идут?

В эти дни лагерь стал совершенно иным. Пленные ходили на работу, ели свой страшный суп, но по вечерам они толпами шли в клуб или собирались у себя в бараках и вели нескончаемые беседы и споры.

Мир и земля были темами разговоров, и о них не уставали говорить. Новых пленных в десятый и сотый раз спрашивали обо всем, что они видели и знали. С великим сочувствием опять и опять слушали рассказы о братании с германцами и австрийцами, о том, что солдаты массами оставляли фронт. И долго и упорно допытывались у новых пленных, почему они не сумели окончить войну.

Клочки русских газет, попадавшихся в посылках, читались с напряженным вниманием. В немецких газетах ловили сведения о большевиках. И когда было напечатано об июльском выступлении большевиков, они встретили это сообщение с радостью и удовлетворением: начинался законный и логичный по ходу событий народный бунт, которого они все время ждали.

В клубе снова начались боевые дискуссии. Меньшевик Дорохов метался по кафедре и истерически кричал:

— Они ведь губят свободную Россию! Они призывают

брататься с немцами, с жандармами Вильгельма. У них никого нет. Или Ленин или Ульянов. А кто еще?

Его слова встречали бешеными, свирепыми ругательствами. С ним спорили простые солдаты. Люди безумели от мысли, что теперь, когда свергнули царя для того, чтобы покончить с проклятой войной, высосавшей всю их жизнь, изувечившей их и бросившей сюда в эти мертвые бараки, кто-то смеет по каким бы то ни было причинам призывать к продолжению этой войны, т. е. к их дальнейшим мучениям и пребыванию в плену.

Лебедев, рыжий ярославский крестьянин, весь съеденный туберкулезом, пустым свистящим голосом кричал:

— А рази плохо брататься с немцами? Воевать по-твоему лучше? За кого воевать-то, сволочь? За свободу вашу? Липовая она, свобода эта. Дайте домой вернуться!

В этой последней фразе было много угроз. Никогда еще за все время плена не была так сильна жажда вернуться в Россию, как теперь. Пленные хотели принять участие в новой жизни, увидеть, как живется сейчас на свободной родине. Они, испытавшие все ужасы фронта, всю горечь и нужду плена, хотели предостеречь своих бунтующих товарищей, чтобы те не поддавались на уговоры «господ» и до конца довели свое дело.

Тогда в лагерях во много раз возросло число побегов. Бежали разутые, полумертвые, не знающие чешского и немецкого языков люди с одной лишь мечтой — пробраться в Россию. Их ловили, наказывали, но они, отсидев, бежали вновь. Их воля и энергия все же побеждали: некоторым из них удалось пробраться в Россию.

Один побег особенно запомнился мне.

Бежал Еремин.

Утром на перекличке его не оказалось, и вечером комендант барака доложил о побеге австрийскому капралу. Все, знавшие Еремина, были глубоко удивлены. Он был тихий, слабосильный человек, крестьянин Калужской губернии, и никто не ожидал, что он может решиться на такое трудное

и опасное дело, как побег. От нашего лагеря до фронта было восемьсот километров. Еремин говорил только по-русски, не имел вольной одежды. Где он будет скрываться? Где будет добывать пищу? Как найдет правильную дорогу?

Никто не сомневался, что этот побег закончится так же, как и другие. То есть через два или три дня Еремина привезут жандармы и сдадут под расписку обер-лейтенанту Веберу, коменданту лагеря. Но прошла неделя, две, а Еремина не привозили. Его доставили только через месяц. Он сильно загорел, был ужасно худ, с синеватыми подсохшими губами и какими-то горячечными глазами. Он был болен, и вместо карцера его пришлось поместить в госпиталь. Он ни с кем не разговаривал, лежал, мало двигаясь, сосредоточенный, как человек, испытавший большое потрясение и медленно осознававший все, что с ним случилось.

Ночью я дежурил в госпитальном бараке. Больные спали. Тяжелый, мясистый воздух душил меня. Я вышел, постоял на дворе и вернулся. Кто-то сидел на койке. Это был Еремин. Я подошел к нему. Мы были приятелями. Зимою я научил его грамоте, и он не раз делился со мною мыслями, возникавшими у него после чтения книг—первых книг, прочитанных им в жизни.

— Как чувствуете себя, Еремин? — спросил я.

Он кивнул головой и глазами показал мне на постель. Я сел.

— Чувствую себя хорошо, — тихо сказал Еремин. — Поправился даже у вас. Только мучусь. Не могу рассказать, как мучусь. Все горит. Вспомню, что чуть не удалось, и голова вертится, долотом по кости бьют.

— Почему вы бежали, Еремин? Ведь невозможно пробраться?

— Как почему бежал? — Он наклонился ко мне, и его рыжая спутанная бородка метнулась по грязной рубахе.— Как тут усидеть, когда в России такое делается? Я три года сидел — ничего, все терпел, а после революции не смог.

В голосе у него были подвывающие ноты, как у тоскующей собаки, а глаза накалялись и лучились.

— Не смог и не сумею,— сказал Еремин.— Я опять убегу. Надо мне в Россию,— посмотреть, как там крестьяне землю поделили, как они без царя живут, без станового. Я ведь такого в жизни не видел.

Он всплеснул руками и вдруг засмеялся.

— Вы думаете, Еремин с ума сошел,— сказал он.— Лучше уж я вам все расскажу.

Он подобрал колени, охватил их руками и начал:

— Бежать у нас из лагеря самое легкое дело. Дождался вечера, зацепил палкой проволоку и подлез. Шел по звездам. Мне товарищи давали карту, но я не взял: все равно я в ней не понимаю. Иду, и так мне хорошо и свободно, словно я уже в России. Лагеря нет, вокруг ночь, где-то у чехов петухи поют — мир, одним словом.

К рассвету стал искать укромное место. Забрался в стог, заделал за собой дыру, лежу. Мне бы спать, но не могу. Все думаю. Одной ночи уже нет, еще двадцать пройдут, и я в России. И только представляю, что там делается, смеюсь, задыхаюсь, сердце к горлу подступает. Мне бы лишь до своей деревни добраться — больше никуда не надо. Посмотреть, куда господа Щербатовы — наши помещики — девались, что с их домом стало да с барским садом, как мы их землю распахали, на их луга коров выгнали.

Заснул в полдень. Проснулся в сумерки. Вылез. Поел хлеба. Пошел. Часа через два вышел к реке. Час шел берегом, искал моста. Только перехожу на другую сторону — жандарм:

«Wer da? — Кто идет?»

Прятаться мне нельзя. Некуда. Лучше уж в открытую. «Русский», отвечаю. Он подходит, я уже шиворот готовлю — сейчас схватит. А он спрашивает:

«С Иржиц, от пана Хорека?»

«Да, говорю, от пана Хорека, с работой задержался».

«Так поздно не ходи, русский,— говорит жандарм,— а то арест. Марш!»

Пронесло. Больше я к мостам не выходил. Там всегда охрана. Через три ночи добрался до Моравии. Хлеб вышел.

Пришлось просить. Сунулся в один дом — вышел старик, посмотрел, покачал головой и вынес картошки. Соль у меня с собой — все, значит, в порядке.

Освоился я с такой жизнью, стал хитрым, как зверь. Иду только ночами, днем отлеживаюсь в стогах, в рощах, в канавах. Иду всегда шибко, а ноги, как железные,— не болят. Держу на восток, где можно, выспрашиваю дорогу. И все же попался. Наткнулся на какой-то военный завод. Проволочный забор, как у нас в лагерях, вокруг часовые. Пошел в обход и встретился с патрулем. Держат меня. Их двое, уже пожилые, видно, поляки или словаки.

«Камо, русский, идешь?»

«До России, — отвечаю, — иду: там у нас революция, солдаты уходят с фронта, не хотят воевать. Пустите меня».

«Не могемо, — говорит один, — отпустим — нам плохо будет».

«А кто узнает? — уговариваю их, — ведь ночь, пустите, товарищи австрийцы, ведь и вам воевать не хочется».

И вот второй кладет на землю винтовку и берет меня за руку.

«Идем, говорит, и я с тобой в Россию пойду. Там мир, там солдату лучше».

Первый схватил его, трясется и шепчет:

«Франтик, ты блазный, — куда ты с русским пойдешь? Расстреляют тебя вместе с ним. Уходи, русский».

Одной рукой меня толкает, другой держит Франтика. Конечно я побежал и только чувствую что-то ударило в спину. Оглянулся, а это Франтик мне вслед свой табак кинул— дорогой подарок.

Потом я уже так узнал, кто чем дышит, что совсем перестал остерегаться крестьян и солдат. Им до того война осточертела, что они никакой помощью своему начальству не интересовались. Давали мне хлеба, показывали дорогу. Только жандармов я и опасался.

И так пробрался я в Галицию. Тут стало опасно. Близко фронт, охрана сильнее, на каждом шагу шпионы. Меня ли-

хорадка бьет. Неужели попадусь? Просить боялся. Голодал, до поздней ночи прятался, потом выходил. Встречались обозы и войска в походном порядке. Смотрел я на них и видел, что все равно скоро будет войне конец. Нельзя с такими



...Второй кладет винтовку на землю и берет меня за руку.

солдатами воевать. Все понурые, слабые, отчаянные. Никакой охоты к боям не видно — таких только толкни, и они штыки в другую сторону повернут.

Близко, под самым фронтом, набрел я на австрийский ре-

зерв. Одни солдаты. Расспросили меня. Я им все говорю. Накормили меня, обласкали. И рассказывают, как им плохо на фронте, как они с нашими солдатами братались.

Вдруг является офицер, видит меня и начинает ругаться. Повели меня в штаб. Допрашивают:

«Шпион?»

Вижу, что дело идет к расстрелу и докладываю — беглый военнопленный из такого-то лагеря. Сейчас же дали туда телеграмму на проверку.

А на другой день увезли меня с двумя жандармами.

Еду с ними и как вспомню, что Россия совсем рядом была и что опять я в свой лагерь попаду, умереть хочется. Лучше бы, думаю, расстреляли как шпиона.

Он замолчал. Окна барака, выходящие на восток, неясно мерцали. Синеватый, неуверенный в своей силе свет медленно намечал их рамки.

— Вам спать надо, — сказал я.

Он не слышал. Он думал о своем.

— Только потом решил: нельзя умирать, — сказал спокойно Еремин. — Надо мне самому увидеть, как моя деревня живет без господ Щербатовых.

Он протянул руку к светлеющему окну. Глаза его смотрели сурово и ясно.

— Неделю полежу и опять убегу, — негромко сказал он.

Весь лагерь разделился на две враждебные стороны. Интеллигенция, торговцы, чиновники, бывшие писари, богатые крестьяне смертельно боялись большевистского движения. Они с ужасом и с надеждой ждали новых вестей из России. Задорнее и глупее всех вели себя лагерные интеллигенты. Среди них было много болтунов, и их напыщенные разговоры о войне до конца звучали невыразимо пошло и неумно здесь среди тысяч умирающих от голода и болезней людей.

Между тем проходило лето. Июльское выступление большевиков закончилось неудачей. О мире ничего не было слышно, и отчаяние снова стало охватывать нас.

— Пропадем мы здесь, не видать нам России, — угрюмо говорили пленные. — Не про нас, видно, свобода.

Казалось, что все кончено, что война продлится еще долго, и ненавистное Временное правительство будет воевать до гадательной победы.

Как всегда, с утра выгоняли на работу. Люди шли шатаясь, смотрели невидящими глазами. Мало говорили друг с другом. Лагерь сделался совсем безотрадным, жить в нем стало невыносимо. И вот многие добровольно записались на тирольский фронт — на знаменитую каторгу пленных. Отправиться туда, под самый итальянский фронт, рыть окопы, жить в палатках и землянках, подвергаться артиллерийскому обстрелу было конечно еще хуже, чем жить в лагере. Но шли даже на это, лишь бы добиться хотя какой-нибудь перемены и не оставаться в бараках.

Наступила тихая осень. Шли дожди. Из канцелярии тяжело дыша прибежал меньшевик Дорохов. Он был без шапки. В руке он держал «Prager Tageblatt» — пражскую газету.

— Кончено! — в отчаянии закричал он и бросил газету. — России нет! Они захватили власть!

Он упал лицом вниз на свою койку. Все находившиеся в бараке бросились к газете. Смотрели на жирные готические буквы, широкой цепью занимавшие всю страницу. Тут жили одни интеллигенты, и новость казалась им гибельной, ужасной.

Весть о большевистской революции разнеслась по лагерю с непостижимой быстротой. Ей не поверили сразу. Известия о давно уже начавшемся в России движении против Временного правительства до нас почти не доходили.

Люди бежали по баракам, спрашивая друг у друга, правда ли, что большевики и Ленин захватили власть. Пахомов, не веря Дорохову и сам не умея читать по-немецки, побежал в австрийское караульное помещение, где у него были приятели. Там он застал сильное волнение. Австрийские солдаты толпились вокруг стола, где лежала газета, и громко спорили, перебивая друг друга.

— А скажите, скажите, камрады, — осекающимся голосом спросил Пахомов, — правда, что в Русска победили большевики?

Австрийцы окружили его. Они трясли ему руку и сильно хлопали по плечу.

— Большевики — да, — наперебой кричали они, — войны нет. Большевик — мир... зольдатен — домой...

Пахомов, шатаясь, жал протянутые со всех сторон руки. Плач сжал его горло.

Он бежал в бараки, по лицу его катились слезы, но он не замечал их.

Вся ночь прошла без сна. Вечером на другой день был митинг. Австрийцы, пришедшие тайком, сидели вместе с русскими. Пахомов, сильно волнуясь, говорил о том, что только теперь пришла настоящая народная власть и что мир будет заключен в самом близком времени. И, как пьяный, толкаясь на кафедре, закончил:

— И вернемся мы в Россию как хозяева, и не будет там ни помещиков, ни фабрикантов — всех их к нашему приезду выметут, как сор из избы.

Потом говорили другие пленные. Говорили бессвязно, тяжело, но понимали их прекрасно. К концу митинга вдруг поднялся австриец и с места громко заговорил:

— Мы, австрийски зольдат, мы рады за русский революцион. Это есть нам родной революцион. Мы все за мир, за революцион, за большевик, Hoch!

—

Следующие дни были для пленных длительным праздником. Газеты писали о первых распоряжениях новой власти, о безвозмездном отчуждении земли в пользу крестьянства, о национализации банков и о предложении Советской Россией всем воюющим державам начать мирные переговоры.

Лагерь жил горячей напряженной жизнью. Октябрь глубоко потряс и оживил всю эту солдатскую массу, сделал ее совершенно иной. И пленные с великим нетерпением ждали



...Как всегда, с утра выгоняли на работу.

возвращения на родину. Они стремились туда со всей своей ненавистью и любовью, тая в себе предчувствия великих сдвигов, желая увидеть собственными глазами все, что там произошло, готовя войну войне.

---

7. МЫ ЕДЕМ В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ!

Белый серпок луны светил над дорогой, ведущей в Прагу. На дороге лежал снег. Снег лежал и на сплетениях колючей проволоки, и на деревянных заостренных столбах забора, окружавшего наш лагерь. Старый ландштурмист Фогелек ходил по дороге, плечом подбрасывая ремень винтовки, чтобы она не сползала.

Было около десяти часов вечера, но в лагере не спали. По аллее, с внутренней стороны проволоки, виднелись группы пленных. Фогелек привык к их поздним прогулкам. Он знал, что с тех пор, как в России большевики захватили власть, тысячи русских в Миловицком лагере непрерывно мучились нетерпением скорее вернуться на родину. Он не меньше, чем они, хотел мира. И когда он видел, что пленные подлезают под проволоку и уходят в ночь, он не мешал им. Главное, чтобы не заметил никто из начальства. Пленные—друзья. Пленные — такие же жалкие, больные, голодные и бесправные солдаты, как и он сам.

— Фогелек, когда дому пойдем? — спросили из-за проволоки.

Он подошел ближе. Кучка пленных стояла у забора. Темные заросшие лица, впалые, нездоровые глаза, согнутые от холода фигуры.

— Скоро, скоро,—бодрым голосом ответил Фогелек.—Еще троху, камрады, и все поедете до Русска.

Завязывается разговор. Фогелек угощает пленных табаком. И только, увидев по дороге идущего человека, все они расходятся.

Да, в лагере мало спали. Нельзя было оставаться здесь

в черных гробах бараков, нельзя было погибать от лишений и болезней, зная, что Россия стала новой, что там солдаты, рабочие и крестьяне захватили власть в свои руки.

Какой желанной становилась далекая родина, с каким бешеным, нечеловеческим напряжением стремились мы вернуться туда!

Товарищи большевики, товарищи революционные солдаты, скоро ли вы освободите нас? Скорее, скорее, так как мы обессилели, мы гибнем здесь.

Скорее!

Но отправка пленных в Россию затянулась на целые годы, было почти невозможно ускорить ее, и еще долго после подписания мира сотни тысяч русских солдат томились в своих лагерях.

Понемногу в Россию отправлялись транспорты пленных. В первую очередь отбирали слабых, раненых, больных и инвалидов—всех тех, от кого австрийцы хотели скорее избавиться. Трудно рассказать, что делалось при отборе в эти транспорты. Счастливцев провожали с завистью, смотрели на них, как на врагов. Каждый думал: почему он, а не я — ведь у нас одинаковые права?

Лагерь опостылел оставшимся, и они уходили из него и бродили по окрестностям, используя свою жалкую, голодную свободу.

В декабре семнадцатого года должен был отойти большой транспорт раненых. Среди них было много таких, которые не могли ходить, и для их сопровождения отбирали русских фельдшеров и медиков. Из нашего госпиталя назначили троих: Дмитрия Иванова, Зубова и меня. Все мы жили тогда вместе в маленькой комнате, примыкавшей к амбулатории. Иванов был студентом-медиком—высокий блеклый человек с висячими усами и негромким голосом, который он никогда не повышал. И походка, и движения у него были какие-то легкие, паутинные, точно он не делал того, за что брался, а только намечал, как это надо делать. Он много пил и, пьянея, оставался тихим,

движения у него становились еще более неуверенными, и неприятно мутнели глаза.

Зубов был неясный для нас, но очевидно хитрый и плутоватый человек, — родом из Владивостока. Он выдавал себя за медика, но в медицине ничего не понимал, был груб, жаден на еду, хвастлив и любил поврать. В лагере его не любили и подозревали, что он доносит австрийцам на своих. У него были какие-то тайные сношения с Ловиком, русским фельдфебелем, начальником лагеря, и с Кузовым, бывшим жандармом, которого все боялись и избегали.

Ловик устроил торжественные проводы, главным образом из-за Зубова. В нашей комнате, куда редко заглядывало госпитальное начальство, в ночь накануне отъезда началась пьянка. Я вернулся поздно из лагеря, где прощался со всеми своими друзьями. Я обходил бараки один за другим и в каждом находил кого-нибудь из тех, с кем меня сблизили почти три года совместной жизни. Многих из них уже не было. Одни лежали на кладбище, скошенные голодом и болезнями, другие разъехались на работы и по другим лагерям, а те, кто остались, выглядели плохо, и было тяжело прощаться с ними.

Вот Пахомов, питерский рабочий, попавший в плен уже после Февральской революции и своими речами взбудораживший весь лагерь. Лагерная жизнь не сломила его, он с нетерпением ждал своего часа, а пока спокойно работал с пленными, разъясняя им новые устои русской жизни.

Вот Турнер, милый человек, лагерный судья и примиритель. Он сидит за своими книгами, в облаках табачного дыма и смотрит на меня. Ему грустно, но он не выдает себя.

Вот мои «подшефные», измученные голодом люди, с которыми я занимался в школе и которых под всякими предлогами, при помощи доктора Пташека, клал в госпиталь на отдых. Они так слабы, что я невольно думаю — дотянут ли они те несколько месяцев, что им осталось пробыть здесь? Они совсем оторвались от России и из своих туль-

ских, рязанских и вятских деревень давно не получают вестей.

Вот Шамов, маленький подслеповатый человек с лебедиными движениями, мастер «модельной обуви», как он себя называл. Вот Кикин, самый жалкий и всеми презираемый человек в лагере. Он страдает болезнью мочевого пузыря, ночью мочится под себя, и тюфяк его и он сам издают удушливый запах, и все гонят и сторонятся его. Он боится подойти и издали смотрит на меня тоскливо и моляще: скудное внимание, что я ему оказывал, очевидно, было ему дорого и необходимо. Ведь так мало нужно иногда загнанному человеку.

И обходя в последний раз проклятые бараки, где я никогда не знал радостей, я, как это ни дико, испытываю нечто в роде сожаления. Значит, правда, что привыкаешь и к своей тюрьме?

Но нет! Буйная радость охватывает меня при мысли о том, что я еду в Россию. Я иду в госпиталь, обхожу бараки, где лежат люди, многим из которых не удастся вернуться на родину. Последние искры надежды поддерживают их, и нет среди них таких, даже из тех, кто совсем умирали, которые не требовали бы, чтобы их отправили в Россию. Я прохожу ряды их коек, жму слабые, горячие руки и говорю обычные утешительные слова. Но в барак смерти, убежище туберкулезных третьей стадии, я не могу итти. Нехватает силы глядеть на людей, которым не выбраться отсюда.

Я возвращаюсь к себе. Там—пир, обжорство и пьянство. Ловик и Кузов не жалеют денег, и кроме того Зубов купил несколько бутылок рому. Пить мне совсем не хочется, да и компания неприятная, и я стараюсь незаметно ускользнуть. Я долго брожу по тропинке вдоль колючей проволоки. Часовой с другой стороны замечает меня и приближается к забору. Это старый ландштурмист, словак, и мы хорошо знаем друг друга. Он кивает мне головой и спрашивает, еду ли я завтра до Русска? Он скорбно сгибает стар-

ческую спину и жалуется мне. Семья его умирает с голоду. Сын в русском плену. А сам он, старик, больной человек, должен стоять здесь, сторожить несчастных русских товарищей. Он так и говорит «камрадов» и сквозь сплетения колючей проволоки протягивает мне руку и желает всего доброго на родине. Усталым движением он закидывает на плечо винтовку и уходит в ночь.

Теперь можно итти и мне. Там как будто разошлись. Я ложусь.

Перед самым рассветом я опять просыпаюсь. Кто-то шепчется. У стола при свете огарка сидят Зубов и Кузов, бывший жандарм. Кузов осторожно разворачивает длинную бумажку и тихо читает. Я узнаю знакомые фамилии и между ними имя Пахомова. Каждая фамилия сопровождается какими-то примечаниями. Донос на пленных посылается в Россию. Неужели они надеются, что в Россию вернутся жандармы? Кузов свертывает бумажку в трубочку и засовывает ее в толстый мундштук папиросы. Зубов прячет папиросы. Они еще о чем-то уговариваются и расходятся.

Утром за нами пришли. Фельдфебель Ежек привел какого-то ефрейтора с винтовкой. Ефрейтор должен был сопровождать нас в дороге.

В нашу комнату набралось много народу. Нас обнимали, стискивали руки и давали последние поручения. Просили не забывать их и в России постараться о том, чтобы оставшихся пленных скорее отправили на родину. Я ловил завистливые взгляды. Турнер крепко обнял меня. Он скрывал слезы, и голос у него был сдавлен и глух.

— Ах, как хочется отсюда, до смерти хочется,—тихо сказал он.

Ефрейтор торопил нас. Мы надели шинели и закинули за спину мешки. Я оглядел нашу маленькую комнату. Нечего мне тут жалеть, а чего-то жалко. Какой-то кусочек жизни остался тут. Мне хотелось погладить корявые стены, но было стыдно товарищей и самого себя.

И вот мы вышли. Огляделись кругом, помахали товарищам и пошли к воротам. Часовой салютует нам и шепчет: «Доброй цесты» [1]. Мы подымаемся в гору, вступаем в лес и все время оглядываемся на лагерь. Черные спины бараков исчезли внизу.

Неужели конец? Неужели прошли два с половиною года неволи и мук? Неужели мы никогда больше не вернемся в лагерь и едем в Россию, в свободную Россию! Не верится, но это так.

Да, да, плен позади. Мы свободны!

Прощайте, Миловицы, прощай, колючая проволока...

В Лисе мы сели в поезд. Мы ехали в общем вагоне, вокруг были чехи, и часовой не мешал нам разговаривать с ними. Это было уже преддверие свободы, и как радостно было от него! Я сторонился Зубова, старался не говорить с ним, и он, поняв, что неприятен мне, не приставал с разговорами.

Молодая чешка застенчиво спросила меня, куда мы едем. И, узнав, что нас везут на родину, радостно кивнула мне. Она предложила мне хлеб и соленый огурец, и я не отказался.

Мы быстро доехали до Праги. Широкие прекрасные улицы поразили нас. Мы отвыкли в нашем лагере от шума, от движения толпы, от звона трамваев и от суеты больших городов.

Всюду были женщины. Они вели трамваи и автомобили, торговали в магазинах, работали. Мужчины попадались в значительно меньшем числе. Фронт пожирал их в несчетном количестве, и даже пятидесятилетние старики были мобилизованы для несения тыловой службы. По узкой улице, где было много готических старых зданий, ефрейтор привел нас в комендатское управление и оставил там в тесной, грязной комнате. Такие комнаты имеются в полиции и в казармах, и они одинаково грязны и унылы во всем мире. Два часа, что мы провели там, казалось, вер-

[1] Счастливого пути.

нули нас обратно в лагерь. Наконец пришел ефрейтор. Он провел нас куда-то в подвал, в столовую, и за обгрызанным, непокрытым столом нам дали по чашке жидкого супа без хлеба. Но мы не думали об еде. Хотелось скорее выбраться отсюда.

Ефрейтор опять повел нас по улицам на вокзал. Какой-то человек в штатском внимательно посмотрел на нас и пошел рядом. Он был молод, здоров, и странно было видеть его тут, когда даже калек брали в солдаты. Он заговорил с нами по-русски и попросил у ефрейтора позволения немного проводить нас. Оказалось, что это был русский военнопленный, уже больше года живший в Праге у богатого торговца. Он был токарем, и его хозяин дорожил им и брал на себя ответственность за него. Он расспрашивал нас о нашем житье в лагере и о том, всех ли пленных отправляют в Россию. Он признался, что находится в большом сомнении, стоит ли ему возвращаться на родину, так как в Праге ему живется очень хорошо. Он проводил нас до самого вокзала и на прощание сунул пачку папирос. Уходил он нерешительно и все оглядывался. Мы вспугнули его, как перелетные птицы вспугивают своего сородича, приставшего к чужой стае.

На этот раз в вагоне кроме нас ехало еще около двадцати пленных. Среди них были и фельдшеры, и инвалиды. Очевидно, всех нас везли на сборный пункт, где составлялся эшелон. Настроение у большинства было радостное, но некоторые рассказывали невеселые вещи. Ежов, медик из лагеря в Штирии, говорил, что шесть месяцев тому назад его назначили в обмен, и он, прожив три месяца в лагере Терезинштадт, был в конце концов отправлен обратно. Он был совсем еще молод, но в лице его было сухое стариковское выражение, и он, оглядывая нас, говорил о том, что в Терезине очень плохой лагерь, что там слишком много людей, а в канцелярии сидят формалисты и взяточники, которые могут мариновать человека несколько месяцев и потом вместо него отправить в Россию другого.

Все это сильно расстроило нас. Теперь, когда мы вырвались из своего лагеря, перспектива застрять в Австрии казалось ужасной. Ежову возражали, и Барыков, инвалид, потерявший левую руку, спокойно сказал, что всякому слуху верить нельзя и что Ежов ошибается. Он, Барыков, знал многих пленных, которые в Терезинштадте пробыли всего несколько дней. В пересыльных пунктах австрийцам невозможно долго держать русских, иначе их наберется слишком много. Его слова успокоили нас, но все же в Терезин мы приехали невесело.

Здесь была старинная крепость. Толстые каменные стены, форты и крытые переходы сохранились еще до сих пор. Лагерь был расположен у самой крепости. Он был велик и неприветлив. Нас провели в канцелярию, зарегистрировали и сдали под расписку австрийскому капралу. Ефрейтор простился с нами и сказал, что ему жалко расставаться с нами. Так ездить ему нравится больше, чем быть на фронте или нести караул.

Барак, куда нас поместили, был, как и во всех лагерях, уныл и грязен. На нарах лежали жиденькие тюфяки, а за одеялами нас повели в цейхгауз, огромный сарай, полный всякого тряпья. Одеяла нам достались старые, в дырках, со скверным запахом. Ночь прошла тяжело. Новые товарищи не могли нам сказать ничего утешительного. Многие из них жили здесь уже по три-четыре недели и все же не знали, когда их отправят в Россию.

Я прошелся по бараку. В нем помещалось более двухсот человек. Одни обжились, другие не хотели устраиваться, считая себя здесь временными жильцами и ожидая каждый день, что их отправят в Россию. Меня остановил пленный с желтым нездоровым лицом. Он спросил меня, откуда я приехал, и мы разговорились. Он оказался студентом-медиком Харьковского университета. У себя в лагере он работал в госпитале и теперь ехал в Россию. Он жил в Терезине вторую неделю и считал, что мы уедем очень

скоро, так как уже подобрался транспорт больных, которых мы должны будем сопровождать. Возле него было свободное место, и я перетащил туда свои вещи. Было приятно избавиться от Зубова, а Иванов, молчаливый и какой-то разбитый, все равно ни с кем не разговаривал.

Любарский, мой новый товарищ, понравился мне своим спокойствием и неторопливостью. У него были ласковые серые глаза и спокойная улыбка. Болезненная полнота мешала ему, ему грозила водянка, но не видно было, чтобы это угнетало его. Мы долго говорили с ним, и он рассказал мне, что его еще до революции назначили к обмену, как медика, но он не хотел возвращаться в царскую Россию. Сейчас же он ехал с радостью и с величайшим любопытством. Ему хотелось видеть, что делается в бывшей стране жандармов и городовых.

— Свободная Россия,—говорил он,—подумайте, как это изумительно звучит.

И он засмеялся, наклонясь ко мне.

— Я не верю, что все это правда. Надо мне самому посмотреть, как там теперь живут,— сказал он.

Ночью он тихо спросил меня, не сплю ли я.

— Знаете, — сказал он, — я сам из Херсона. Недалеко от нашего дома помещался полицейский участок. Там было самое ужасное, самое проклятое место в городе. Я знал, что оттуда исходило все плохое и гнусное. Оттуда шли на погром, туда уводили наших лучших людей и мучили их. Так вот мне нужно будет съездить в Херсон, посмотреть собственными глазами, что участка в самом деле нет. Тогда только я поверю, что в России революция...

Утром меня ожидала радость. Прибыли новые пленные и с ними мой товарищ по лагерю Кобчик, веселый, жизнерадостный Кобчик, за которым я ходил, когда он болел тифом.

Кобчик ходил по бараку, знакомился с пленными и сразу же отыскал земляков. Он разузнал интересные новости об обмене и о дороге, по которой нас повезут.

— Проедем всю Германию от баварской границы до мо-

ря,— радостно улыбаясь, рассказывал Кобчик,— и в порту передадут нас шведам. Через шведов поедем дальше... А там уже свобода, там войны нет, плена нет.

Его веселые глаза увлажнились, и Кобчик любовно посмотрел на меня.

— Не вмещаю всей радости,—тихо сказал он.—Много мы все же в лагерях и на фронтах намучились. Позвольте мне вас обнять...

И он обнял меня осторожно, но сильно, и поцеловал.

И вот проходили дни, а мы все ждали. В лагере, где жили тысячи изнервничавшихся, больных людей, не могло быть хорошо и спокойно, и по нескольку раз в день передавались самые разноречивые слухи о том, что остановились железные дороги, что в главной комиссии по обмену пленных вышли нелады и обмены прекращены.

Лучше всего было не верить ни одному слуху и спокойно ждать событий. Я, Кобчик и Любарский ходили по всему лагерю, заглядывая в бараки. Лагерь тянулся больше, чем на версту, и в нем было около ста бараков. Кроме пленных, назначенных к обмену, здесь жили и основные обитатели лагеря. Они привыкли к тому, что через их лагерь проходил непрерывный поток пленных, уезжающих на родину, и среди них ходила невеселая шутка, что терезинцы попадут в Россию после всех.

Больные занимали тридцать или сорок бараков. Нетерпение и тоска сжигали их. С утра длинные вереницы людей на костылях, с повязанными головами, полуслепых, хромых и безруких, тянулись к канцелярии. Они простаивали там часами, останавливали каждого человека, расспрашивали его и верили всем слухам, что ходили по лагерю. Больные и инвалиды говорили, что раньше всего отправят инвалидов и больных, а здоровые утверждали, что инвалидов пока что возить не будут, потому что с ними в дороге очень много возни.

С Кобчиком мне было легко. Я верил его спокойствию и уверенности и не волновался. Он занялся делом. С изуми-

тельной выдержкой вырезывал из дерева петушков и при этом пел песни. Серые глаза его смотрели ласково, и стоило заглянуть в них, чтобы увериться, что все будет хорошо и совсем не стоит нервничать.

Вечером мы сидели в бараке. На верхних и нижних нарах со своими коптилками, свечками и фонариками расположились группы пленных. Они пили чай, ужинали, чинили свои вещи, разговаривали, читали или играли в шашки, домино и карты. У больших чугунных печей, стоявших в широких проходах между нарами, теснилась очередь — разогревали еду. Кобчик откупорил банку мясных консервов и ловко потряхивал ее на печке, чтобы она разогревалась равномерно.

В барак незаметно вошел маленький австриец в шинели без пояса, в очках. Он прошел на середину барака к печке, и вдруг там что-то началось. Мимо меня, ничего не видя и толкая всех, пробежал Зубов, волоча за собой вещевой мешок. Мне послышалась моя фамилия. Кучка людей шла к нашим нарам. Австриец неодобрительно посмотрел на нас.

— Леви́н, Любарский, Зубов, Иванов, Колесников, Ежов, — выкрикивал он и сердито добавил:

— Aber schneller, ich warte[1].

Весь барак переполошился. Бессмысленно бежали люди по всем направлениям. Спрашивали друг друга, не вызывали ли их имена. Прибежали из других бараков, откуда-то узнав, что у нас назначают в транспорт. Кто-то с ругательствами лез вперед, уверяя, что назвали его фамилию. Кто-то плакал. Австриец равнодушно ждал нас. Я завязывал мешок, сборы мои были недолги. Любарский неторопливо складывал книги. Покинутые консервы остывали на нарах. Кобчик подошел ко мне.

— Ну, вот,—сказал он,—вот вы едете... Видно, мне одному придется доедать консервы.

Я крепко обнял его.

---

[1] Скорее, я жду.

— А вы, Кобчик...—начал я, стыдясь перед ним своей удачи.

— И я поеду,—спокойно сказал он,—неделя уже не срок, догоню вас.

— Marschieren,—закричал австриец.

Он по списку проверил нас — всех было одиннадцать человек—и повел к выходу.

Увязая в мокром снегу, мы прошли весь лагерь, вышли в поле и шагах в двухстах увидели два или три отдельно стоящих барака. Черная железная труба с колпаком подымалась над одним из бараков. Фонарь горел у ворот, колючая проволока забора блестела стальными коготками, часовой вяло ходил по снегу.

Нас ввели в большое помещение. Два длинных стола параллельно тянулись во всю его ширину, и стена была занята деревянными, занумерованными ящичками. Вошли австрийцы и велели нам раздеваться догола. Они хватали наши вещи, писали на них номера и бросали в ящички. Против каждого номера ставили фамилию владельца вещей. В бараке было холодно, мы дрожали и жались друг к другу.

— Купаться, марш,—скомандовал лейтенант, и нас повели в другое помещение мыться.

Один за другим мы бежали к ваннам и погружались в теплую воду. Австриец бросал каждому крошечную пластинку глинистого мыла, совсем не мылившегося и только пачкавшего. Тем, кто помылся, давали чистое белье, халат и опорки. Лейтенант осмотрел нас и велел вести. Нас вывели в первую комнату и оттуда через двор в другой барак, совершенно пустой. Там было холодно. Даже печей не было. И после ванны, в одном белье и халатах, с босыми ногами (опорки совсем не грели) мы сразу замерзли. Пришлось бегать по всему бараку, чтобы согреться. Поднялся крик, потребовали лейтенанта. В это время из другого конца барака нас окликнули. Там в темноте на сваленных кучей тюфяках несколько пленных, очевидно, пришедших до нас, залегли вповалку,

укрывшись тюфяками же. Мы быстро забрались к ним. К счастью тюфяков было много, мы легли, тесно прижавшись друг к другу, и сверху еще навалили тюфяки.

Уснуть не могли. Волнения этого вечера и холод мешали нам. Рассвет только успел обозначить контуры узких окон синеватой дымкой, как мы были на ногах. До сих пор не пойму, как мы ушли тогда от смертельной простуды.

Часов в восемь принесли наши вещи, смятые и еще влажные от дезинфекции.

В барак, где мы провели ночь, набралось более двухсот человек—все раненые, больные и инвалиды. Тут были и безногие, и для них принесли скрипучие протезы на ремнях—подарок шведского Красного Креста. Пришел лейтенант и капралы, и по спискам стали проверять нас. Один из пленных, татарин Мухамед Галиев, не значился в списках. Лейтенант велел отправить его обратно в лагерь. Татарин не хотел итти. Он упал на холодную землю и простирал к лейтенанту руки. Лицо его было искалечено отчаяньем и болью—он не мог вернуться в лагерь после того как мучился там целые годы и теперь узнал, что едет домой. Четверо людей схватили его за руки и ноги и понесли, а он завыл так страшно и не по-человечески, что его выпустили, и он, всхлипывая и скуля, побежал и забился под нары.

Нам велели построиться и повели обедать. Ели мало. Торопились, беспокоились, ждали. И когда скомандовали забирать вещи и выходить, все, даже инвалиды, бросились вперед. Галиев, ощерясь и оглядываясь на австрийцев, прятался в середину толпы. Несколько телег и грузовик подъехали к бараку. Посадили больных и раненых, остальные должны были итти пешком.

И вот мы тронулись. Мы вышли на дорогу, пошли мимо лагеря. У проволоки толпились наши товарищи, менее счастливые, чем мы. Они махали нам платками, что-то кричали. Я заметил Кобчика, он улыбнулся мне, он не казался грустным, но мне до боли было жаль его. Мы прошли крепость,

вышли на узкую дорогу и незаметно дошли до города. Прохожие с любопытством глядели на нас, многие кланялись и тихо желали счастливого пути.

На вокзале уже стоял поезд. Нельзя было дождаться, пока начнется посадка, а австрийцы, как назло, не торопились. Пришел незнакомый обер-лейтенант, начальник эшелона, как нам сказали, осмотрел нас и махнул рукой. Нас повели по вагонам. Паровоз рванул вагоны. Мы двинулись.

Расположились очень удобно. Ровный стук колес был невыразимо приятен. Мы не отходили от окон. Поезд шел медленно, останавливаясь на всех станциях и пропуская вперед воинские и скорые поезда.

На германской границе поезд долго стоял. Нас вывели на перрон небольшого вокзала и в баках принесли суп. Как всегда, к вагонам подошли любопытные, почти исключительно женщины, дети и старики. Они выглядели невесело и бедно. Многие из них имели в русских лагерях своих близких и говорили, что, может быть, и они скоро вернутся, если уже русские пленные едут домой. Молодой австриец подошел к нашему вагону. При ходьбе он неестественно выбрасывал правую ногу, и она сильно скрипела при каждом его движении. Он рассказал, что два месяца тому назад он вернулся из России, обмененный как инвалид (он хлопул по всей искусственной ноге). Пленные набросились на него с расспросами, и он, горько улыбнувшись, ответил, что солдату везде плохо.

— Мамы валку посудь[1], — сердито сказал он, указывая на горло, и, осторожно оглядевшись, шопотом сказал, что большевики молодцы, они сделали «велику вець»[2], и когда австрийские солдаты вернутся с фронта, они должны будут сделать то же, что их русские товарищи.

Перед самой отправкой по вагонам торопливо пробежал капрал и за ним два солдата с винтовками. Капрал проверял каждого из нас по списку, пока не дошел до Галиева.

---

[1] Война нам до сих пор.
[2] Великое дело.

Он сделал знак, и солдаты схватили татарина. Галиев помертвел и не сопротивлялся. Его вывели. Он стоял на перроне, когда поезд шел мимо него. Голова его была опущена, колени устало согнуты. Австриец с винтовкой стоял возле него. И вдруг неторопливым движением Галиев отделился от солдата и боком свалился под вагоны. Поезд остановили, составили протокол и на носилках унесли тело. Галиев не вернулся в лагерь.

Ночью мы ехали по Германии. Германия готовилась тогда к решительному наступлению на западном фронте; и вся страна казалась одной гигантской, непомерно разросшейся фабрикой со многими тысячами корпусов. По обе стороны дороги из темноты проступали многоярусные шеренги заводских окон, залитых багровым отсветом, и сквозь стук вагонов мы различали глухое напряженное гудение машин и видели буйные табуны искр, рвущихся к небу из массивных, высоких труб.

Утром поезд остановился в поле, не доезжая станции. Справа, на расстоянии не более километра, виднелись черные бараки и серая фигура часового, медленно ходившего вдоль забора. Знакомая, постылая картина! И вот мы увидели между бараками фигуры в рыжих русских шинелях. Прошел час, два, мы не трогались с места. И вдруг кто-то сказал, что нас, возможно, оставят в этом лагере. Не было никаких оснований поверить этим словам, но мы испугались. Слишком велики были наши неуверенность и страх, и в конце концов мы могли ждать всего, что угодно. До тех пор, пока мы находились на германской территории, нас могли еще вернуть в лагерь, мы все еще были в плену.

Наконец, часа через три после нашей остановки, из лагеря вышла кучка людей и направилась к поезду. Скоро стало ясно: несколько германцев с повязками Красного креста ведут группу русских пленных, а двоих несут на носилках. Пленных посадили в наш поезд—это были раненые,

предназначенные к обмену. Наш лейтенант выдал германцу расписку, паровоз повыл, и мы тронулись.

Мы ехали на север, к морю, к свободе, к России.

В Германии отсутствие мужчин было так же заметно, как и в Австрии. Всюду были женщины. Мы видели их на железнодорожных станциях—они сцепляли вагоны, работали в качестве кондукторов, телеграфисток, носильщиц и стрелочниц. Женщины были в форменной одежде, делали все с профессиональной ловкостью и, видимо, привыкли к своей мужской работе.

Чисто и аккуратно было на линиях, вечерами спокойно горели сигнальные огни, тишина окутывала станции, и к нашим вагонам никто не подходил. Германская дисциплина была жестче австрийской, да, может быть, никого и не интересовал эшелон русских пленных. К пленным привыкли, их применяли по всей стране как дешевую рабочую силу, такую же примерно, какой считались негры в Америке до освобождения их от рабства.

Иногда мы встречали воинские поезда, идущие с востока на запад. С русского фронта перебрасывались лучшие дивизии для весеннего наступления на Францию, и солдаты знали, куда и зачем их везли. Они не пели песен, никакого воодушевления мы не видели в них, они были тихи, угрюмы, и нехорошее зловещее выражение высекалось на их лицах. Их провозили через всю страну, многие из них проезжали близко от своих родных мест, но отпусков им не давали. Я вспомнил воинские эшелоны, которые видел в начале войны. Тогда люди еще верили ядовитым обманам патриотических газет. Теперь были другие времена, более близкие к великим сдвигам и бурям, которые смели императорскую власть в Австрии и Германии.

На остановках германские солдаты подходили к нашим вагонам. Трое из них вошли в вагон. Один из них говорил по-русски. Это был высокий худой человек. Сжатые сухие губы и железная каска делали его лицо суровым. Он и его товарищи уселись среди нас.

— Да, да, один фронт кончился, и нас везут на другой,— сказал высокий германец.— На русском фронте наши солдаты не хотят больше драться. Мы скоро не захотим драться на французском фронте. С нас довольно войны.

Его товарищ, узкоплечий, с лихорадочными глазами больного, кивнул головой.

— Хорошо, что вы едете домой,—сказал он,—вы найдете там много нового и прекрасного. Нам тяжелее, чем вам.

И, бесстрашно поглядев на австрийца, сопровождавшего поезд и стоявшего у окна, он добавил:

— Кайзер сидит у нас на затылке, как гора. Надо, чтобы он нашел для себя другое место. Не правда ли, товарищ?

Австриец, не поворачиваясь, кивнул головой.

У него была худая спина и согнутые в коленях ноги, и вряд ли он был доволен кайзером и войной.

Пленные расспрашивали германцев о фронте. Правда ли, что они братались с русскими? Видели ли они в русских окопах красные флаги? Много ли русских солдат покинули окопы? И почему германские солдаты продолжают войну?

Германцы отвечали все вместе. Они сейчас еще ничего не могут сделать. Офицеры особенно зорко следят за ними. Дисциплина еще крепка. Но все же они братаются с русскими. Надо еще немного подождать. Война сама гонит события.

В это время вошел австрийский лейтенант. Он покраснел, шея его надулась.

— Вон, свиньи! — закричал он.— Кто вам позволил войти сюда?

Германцы ушли быстро, но спокойно, ничего не ответив и откозыряв лейтенанту.

Во взгляде, который нам бросил высокий германец, можно было прочесть:

— Ладно, мы подождем еще немного.

Германский эшелон ушел раньше нашего. Товарные вагоны с открытыми дверями уходили на запад. Люди в касках

и смятых бескозырках столпились у входов и смотрели на нас. Многие делали нам приветственные жесты. Другие стояли, сгорбившись. Они не пели, не разговаривали между собой. Дух их был надломлен, они устали от войны и хотели отдыха. И теперь, вспоминая их, я думаю о том, сколько будущих спартаковцев и красных фронтовиков созревало в их рядах. Их гнали на последний бой за кайзера, Круппа и Стиннеса, не зная того, что этот бой станет первым боем за германскую революцию.

Война ускоряет события.

Чем ближе мы подъезжали к морю, тем резче становился холод. Вечером мы улеглись спать. Было еще темно, когда я проснулся. Странное ощущение овладело мною—мне показалось, что наш поезд покачивается, точно земля под ним колышется. Я выглянул в окно и не поверил тому, что увидел: поезд плыл по морю. Густые темные волны вздымались под окнами вагонов. Я разбудил товарищей. Все бросились к окнам. Любарский первый догадался, в чем дело.

— Нас перевозят на пароме на остров, — сказал он.

Это оказалось правдой.

Не помню названия этого острова. Когда плот пристал к берегу, к продолжению железной дороги, оборванной на материке, мы продолжали наше путешествие до северного берега острова, до маленького порта, где нас ждал шведский пароход.

Поезд дошел до самого моря—дальше ему итти было некуда: здесь кончалась Германия, кончался плен. Нас вывели из вагонов и повели в широкий каменный двор, выходящий к пристани. Австрийские и германские офицеры в последний раз обходили наши ряды, сверяли списки. У берега стоял небольшой, очень чистый белый пароход; на корме у него развевался шведский флаг, а на мачте другой—с красным крестом. С парохода сошли две сестры—ослепительно белые в

своих шубках и шапках из белого зайца. Они взяли списки у офицера и, обойдя нас всех, каждому прикалывали на грудь овальную карточку с красным крестом и надписью Svenska Röda Korset[1].

Трудно рассказать, какими счастливыми сделало нас их присутствие и их заботы. Все это означало конец плена, конец проклятым лагерям с их бараками, мертвецами, голодом, болезнями и колючей проволокой. Счастье заливало нас, делало пьяными и безумными. Мы не могли дождаться, пока нас поведут на пароход. Наконец повели. Один за другим мы ступали на чистую палубу, отряхивали со своих ног прах земли, которая была нашей тюрьмой.

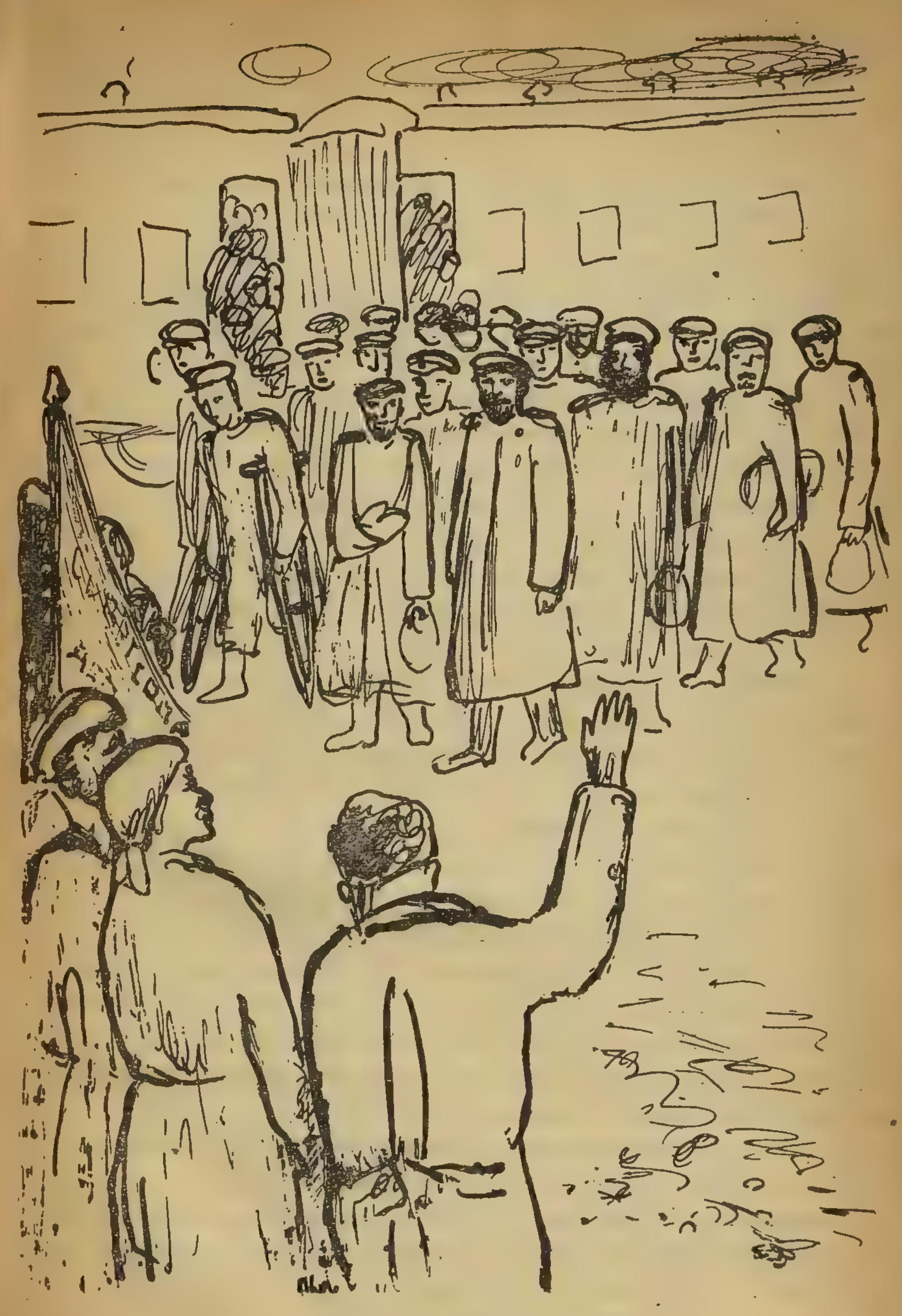
Нас отвели вниз в обширную столовую и покормили так, как никогда не кормили в Австрии: дали суп, жареное мясо с картофелем и молоко. Прислуживали главным образом женщины, и вокруг не было вооруженных часовых.

Нам не сиделось внизу. Хотелось, чтобы пароход скорее ушел. И вот капитан поднялся на мостик, что-то скомандовал, и матросы стали выбирать якорь. Сирена заревела весело и мощно, и корабль медленно отошел от пристани. Волна, как собака, облизала его зеленым пенистым языком, берет тихо уходил от нас, и таяли на нем фигуры германских часовых с остриями штыков над головами. Мы плыли, нас сильно покачивало, морской ветер прохлестывал все тело острыми колючими кнутами, но я не мог уйти вниз. Пожалуй никогда в жизни мне не было так хорошо, как тогда. Я не чувствовал холода, не чувствовал себя. Я несся по воздуху, голова кружилась, как кружится она во время сна, когда снится полет.

Море шло на нас зеленой степью, вскопанной прибоем, и волны вздымались на нем уступами, как развороченные глыбы земли. Синий туман плыл в моих глазах, и я качался вместе с пароходом, вместе с морем, и мое сердце вздувалось от единственной, никогда еще не испытанной радости.

Кто-то стал рядом со мною. Это был раненый, присоединенный к нам в Германии. Он наклонился над перилами. Мы пог-

[1] Шведский Красный крест.



...В Петроград прибыли вечером.

лядели друг на друга. И сквозь шум моря он прокричал мне на ухо, что едет домой, в Россию, в село Шишкино, Яранского уезда, Вятской губернии, и, обняв, поцеловал меня.

Наше путешествие длилось всего лишь день. Мы прибыли в Треллеборг—шведский порт. Экстренный поезд Красного креста уже ожидал в порту, и нас посадили в вагоны прямо с парохода. В порту было много судов. Швеция наживалась на войне, торгуя со всеми воюющими странами. Нас, привыкших к отсутствию мужчин на улицах германских и австрийских городов, поражало их обилие в Швеции.

Шведки двигались по улицам спокойно и неторопливо, с благожелательным выражением на лицах. Им не надо было беспокоиться о своих близких на фронтах, не надо было читать в газетах списков убитых и искалеченных людей.

Мы ненавидели войну органически и глубоко, и оттого так пламенно и с такою великою радостью встретили мы большевистскую революцию, что видели в ней освобождение от проклятого строя, рождающего войны. Мы шли с теми, кто протестовал против войны, кто хотел по-своему перестроить мир. Мы имели основание быть недовольными старым порядком, и нас не испугала бы и новая война, объявленная империалистической войне.

Экстренный поезд поразил нас своей роскошью. Он был весь изнутри облицован дубом, матовые электрические шары были врезаны в потолках, и ряды коек на пружинных матрацах, застланных хрустящими от крахмала простынями, ожидали нас. Шведские сестры были ласковы и приветливы. Впрочем, им мало приходилось возиться с пленными, так как русские фельдшера и медики, сопровождавшие транспорт, сами ухаживали за своими.

Первая остановка была в Мальмэ, вторая в Гессельхольме. Мы выходили на перрон, и так же, и вТреллеборге, шведы удивляли нас своим спокойствием и неторопливостью. Нам, издерганным войной и пленом, было очень приятно это спокойствие.

В Гальсберге в вагон вошел шведский офицер с повязкой Красного креста на рукаве.

— Завтрак, завтрак—говорил он.

Всех, кто мог ходить, повели на вокзал, за столы, убранные цветами и прекрасно сервированные. Кельнеры в белых передниках разносили жареное мясо на никелированных блюдах. Мяса было много, но хлеба давали по два тоненьких ломтика. Швеция нуждалась в хлебе, который до войны получала главным образом из России, а теперь он скупо доставлялся на американских пароходах.

Когда мы уходили после завтрака в свои вагоны, к нам украдкой подошли двое людей в замасленных блузах. Это были шведские железнодорожники, рабочие из мастерских, расположенных за станцией. Один из них немного говорил порусски. Он, смеясь, рассказал, что из России стаями улетают меховые птицы, т. е. богатые люди в мехах, которым революция пришлась не ко двору. Несколько поездов с ними прошли через Гальсберг, и нам вероятно в пути еще придется встретить их.

У них в Гальсберге жил политический эмигрант, большевик, сейчас же после революции уехавший в Россию. Он много общался со шведскими рабочими и недавно прислал им письмо. В письме говорилось о том, что делалось сейчас в России, и было приглашение приехать в Петроград.

— Вы будете видеть много нового у себя на родине,— сказал нам швед.—У вас будет большое сочувствие от всех рабочих и солдат из Европы, из Америки, из мира. Очень большие дела. Очень мировые дела в России.

Он помахал нам рукой, а его спутник прокричал на прощание:

— Товарись! Товарись!...

Мы ехали через всю Швецию, пересекая ее с юго-запада на северо-восток. Мы выходили только на перроны, дальше нас не пускали, и города и деревни мы видели только издали, только из вагонов. Мы обедали в Крильбу и ужинали в Боллнесе. Многие станции проезжали, не останавливаясь. Шве-

ды торопились скорее сдать нас по назначению. Вежливо, но настойчиво они стерегли нас.

В Вэннэс прибыли в семь часов вечера. На станции стоял встречный поезд. Кто-то узнал, что он пришел из Петрограда. Несколько человек пошли туда в нестерпимом желании увидеть людей из новой России. Русские прогуливались по перрону. Меня удивило обилие военных среди них. Навстречу мне шел генерал, маленький, косоплечий, со щеками, отвисшими, как пустые мешочки. Он посмотрел на меня со злобой и пробормотал длинное ругательство.

Публика в поезде была на подбор. Женщины в мехах, мужчины в шубах с бобровыми и котиковыми воротниками. Я отметил их неспокойный вид. Их движения были торопливы и неуверенны. Они суетливо оглядывались кругом, хватались друг за друга или вдруг спешили куда-то, начинали бежать.

Наконец после двухдневного путешествия мы достигли Хапаранды, северного пограничного пункта Швеции. Только река Торнео отделяла нас от Финляндии, бывшей тогда еще советской. Нас группами выводили из вагонов, сажали в низкие лопарские сани, запряженные оленями, и перевозили через реку в Торнео, финский городок. В Торнео мы в последний раз попали в бараки. Они были лучше австрийских, и каждому человеку полагалась койка. Никто не стерег нас, но по старой привычке мы боялись далеко отходить от бараков. Нас привлекала железнодорожная станция, расположенная в версте от лагеря, и некоторые из нас пошли туда. Мы шли так нерешительно, что встретивший нас солдат, здешний каптенармус, засмеялся и весело закричал:

— Да не бойтесь, не бойтесь, товарищи, часовых здесь нет. Идите, куда хотите.

И он щедро обвел рукой кругом, отмеривая все видимые пространства. Мы поговорили с ним, и он рассказал, что пленные, прибывающие сюда, в первые дни страдали боязнью уходить далеко: им все казалось, что их сурово окликнут и вернут обратно.

К свободе человек привыкает быстро, но все-таки не сразу.

Мы медленно двигались через Финляндию. В Выборге стояли полдня. Офицеры еще носили погоны, и, встретив их, пленные по старой привычке козыряли им. Офицеры смотрели на них растерянно, даже со страхом, и торопливо прикладывали руки к фуражкам. Скоро мы перестали козырять. Никто не делал этого. И погоны доживали последние дни.

В Петроград прибыли к вечеру. Поезд не сразу подошел к Финляндскому вокзалу. Он долго стоял на путях в предместьи. Вечерняя заря розовела над городом. Церковные купола блестели, как начищенные самовары. Адмиралтейская игла уперлась в малиновую тучку. Старушка прошла по путям и любопытно посмотрела на нас.

— Эй, бабушка, как живешь?—крикнули ей из вагона.

— Да вот Ленин у нас,—ответила старушка,—с Лениным живем. Царя у нас теперь нет. А вы откуда? С плену?

И, пожевав губами, она пошла и на ходу сказала:

— Хлеба вот еще нет, а чай дают морковный.

Мимо нас, грохоча по стрелкам, медленно прошел поезд. Он был наполнен вооруженными солдатами, из открытых дверей теплушек выглядывали бульдожьи рыла пулеметов.

И пока поезд проходил мимо нашего эшелона, мы успели узнать, что это красногвардейцы едут бить Корнилова. Они выглядели бодро, и много злобы чувствовалось в них. Все они шли добровольно, движимые ненавистью к людям, которые пытались повернуть их обратно, к старому. Нам была хорошо знакома их ненависть. Впервые мы увидели настоящих солдат революции—тех, чьей волей была окончена война и которые тут же начали другую, чтобы защищать свое право на мир и на свободную жизнь.

Вечером мы были в городе. Нас разместили в громадном здании, выходящем на Галерную улицу и на Конногвардейский бульвар,—в бывшем институте благородных девиц.

В институтской церкви, под крылышками голубых ангелов, порхающих по потолку, солдат в потертой шинели без

пояса, с усталыми глазами и рыжей бородкой, приветствовал пленных от имени Петроградского совета.

Он говорил просто, и некоторые фразы из его речи до сих пор запомнились мне:

— Товарищи,—сказал он,—мы не верим людям, которые управляют миром. Они скверно и подло обманывают нас, и мы решили сами взять это дело в свои руки. Вы побывали на войне и в плену и знаете, что вам не за что было драться с австрийскими и германскими рабочими и крестьянами. Советская власть во всем мире—это прежде всего вечный мир между народами, полное уничтожение войны.

Это было понятно нам... Миллионы людей, только-только освобожденные из мертвых тисков войны и плена, имели возможность смотреть в корень событий и правильно понимать их.

Мы тоже не верили людям, которые управляли миром.

И было правильно и законно, что тысячи солдат, еще не успевших отдохнуть от царских окопов, опять шли в бой, объявляя войну войне.

Да, да, какой угодно ценой, какими нужно жертвами, но навсегда надо освободить мир от гибельного проклятого строя, ведущего к войнам, угнетению и нищете.

1 руб. 20 коп.



